



Нюрген
Кавельчак

Щтурман

Людвиг Павельчик

Штурман

«Accent Graphics communications»

2011

Павельчик Л.

Штурман / Л. Павельчик — «Accent Graphics communications»,
2011

На беду переступив порог чужого жилища, юный ленинец сталкивается с дикой тайной прошлого, преступлением, к которому он и сам странным образом причастен. Годы ухнули... Спасет ли он старого друга, которого предал когда-то? Выберется ли из омута странностей, предательств и романтики? Отыщет ли разгадку тайны и нелюдимого, мрачного Штурмана? Книга об Умерших, их Тайнах и фокусах Времени.

© Павельчик Л., 2011

© Accent Graphics
communications, 2011

Содержание

Пролог	5
Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	19
Глава 5	24
Глава 6	34
Глава 7	38
Глава 8	44
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Людвиг Павельчик

Штурман

Тем, кто помнит Советские времена... ...и любит загадки

Пролог

Проводя вечера одного из теплых сентябрей начала 2000-х годов в архиве ***ского Городского Отдела Внутренних Дел, куда был допущен лишь на весьма ограниченное время и лишь на основании связей и знакомств, я пытался отыскать для потомков хоть сколько-нибудь поддающиеся осмыслению подробности гибели моих предков, ставших в далеких тридцатых поленьями в жарком костре борьбы с антисоветчиной.

Вскоре, однако, мне стало скучно, так как я понял, что, несмотря на все подключенные связи и заверения «сильных мира сего», доступа ко всей полноте информации мне предоставлено не было, а самые интересные страницы, раскрывающие нюансы допросов или повествующие о ходе умозаключений не щадивших себя на изнурительной работе следователей Народного Комиссариата либо перемещены в другие, недоступные мне, архивы, либо и вовсе уничтожены. Имена осведомителей также были тайной за семью печатями.

Разочаровавшись, я стал рыться во всем подряд, во всех отделах, куда имел доступ, разыскивая знакомые адреса, фамилии, даты и потихоньку восстанавливая для себя картину судеб тогдашних жителей родного города. Судеб, зачастую неведомых даже их прямым потомкам.

И вот, в одном из ящиков я случайно наткнулся на документ, озаглавленный «Дело № 48071», который на несколько часов полностью поглотил мое внимание, поскольку напомнил мне об одном странном, необъяснимом случае, произошедшем со мной несколько лет назад, во времена моей школьной пионерской юности, и заставившем меня тогда усомниться в собственном психическом здоровье. Найденные же мною бумаги косвенно подтверждали истинность тех событий и давали мне право не стесняться отныне своих воспоминаний, тем более, что люди, причастные к этому делу, давным-давно покоятся в своих могилах и причинить им вред неосторожным словом невозможно. К тому же, случай, о котором я говорю, до сих пор оставался для меня неясным и загадочным, так что стоило, несомненно, потратить время и силы на то, чтобы в нем разобраться.

Часть первая Завязка

Глава 1 Случайное возвращение

Шел январь 1989-го года. Один из тех суровых сибирских январей, когда ртутный столбик термометра падает ниже низшего, моторы автомобилей не запускаются, будучи не в силах повернуть застывшее в шугу масло, а школьные занятия то и дело отменяют, опасаясь переохлаждения юных ленинцев в по-советски отапливаемых классных помещениях. В день же повествуемых событий обучение, несмотря на существенный мороз, состоялось, и мы часов семь кряду напивались преподносимыми нам знаниями, замешанными на величии красного цвета.

После занятий я, по приглашению моего друга Альберта Калинского, зашел к нему домой, чтобы немного погреться, переписать у него условия каких-то там задач (учебник нам выдали один на двоих), а заодно и вкусить пышущих жаром пирогов с капустой или ливером, которые так замечательно пекла Елизавета Александровна, Альбертова бабушка.

Альберт с родителями, младшей сестрой и вышеозначенной бабушкой жил в третьем этаже одного из домов характерной архитектуры, построенном в начале тридцатых годов, но еще крепком и даже, по меркам нашего городка, элитном. Здесь проживала партийная номенклатура и вышедшие в отставку военные чины не ниже полковника, так что мой друг вполне мог считаться если не небожителем, то, по меньшей мере, представителем городского дворянства.

Это была большая, трехкомнатная квартира с балконом и высокими потолками, выходящая тремя окнами на проспект и двумя – в сад расположенного рядом Дворца Пионеров. Унылое, серое здание Дворца мало привлекало детвору, но сад этот был словно создан для мальчишеских игр, собирая под сенью своих кленов и акаций ребят со всей округи, своими криками и гвалтом вызывающих справедливое бурчание добрейшей Елизаветы Александровны.

Помимо того, начинающаяся прямо от двери альбертовой квартиры железная, приваренная сверху и снизу, лестница вела на чердак – вотчину голубей и темных историй, где проходили все самые секретные «советы в Филях» и принимались самые важные в мальчишеской жизни решения. Одним словом, продуваемой всеми ветрами и пахнущей плесенью двухкомнатной «хрущовке», служившей приютом мне и моим родителям, было далеко до этих хором.

Было у квартиры, где жил мой друг, и еще одно неоспоримое достоинство – в ней обитали призраки. Правда, завернутыми в саван ухающими и стонущими фигурами они себя, к сожалению, не являли, но странностями и «ужасными непонятностями», если говорить языком Альберта, квартира буквально кишела, поначалу держа своих жильцов в постоянном напряжении, если не сказать – страхе. Почти каждую ночь по квартире кто-то ходил, заунывно бубня себе под нос, открывал и закрывал форточки, включал и выключал свет в ванной комнате, звенел посудой в кухне, а порой даже мелькал едва различимой тенью на фоне окна или в дверных проемах. Спокойный сон семейства стал редкостью, чем мой романтический друг почему-то очень гордился.

Постепенно, однако, родители Альберта сменили страх на скепсис и даже стали посмеиваться над собой и домочадцами по поводу охватившей их изначально робости. Детям, однако, они запретили обсуждать феномен вне дома, боясь прослыть суеверными и, чего доброго, утра-

тить часть своего авторитета в глазах коллег по Партии, которая, как известно, иных сил, кроме Красного Трора и революционной законности, не признавала.

По этой же причине многократные предложения Елизаветы Александровны пригласить какого-никакого священника и окропить жилье святой водой, в антидемоническую силу которой она почему-то верила, были без обсуждения отринуты, а настойчивость, которую она пыталась было проявить, рассыпалась в прах, наткнувшись на стальную волю зятя. Ничего не произошло и после того, как младшая сестра моего школьного друга вышла из ванной комнаты с пятнами крови на руках и животе, не имея при этом ни следа повреждений, но поведав, что «кровь была в ванне». После беглого осмотра помещения случившееся было приписано фантазии малолетней мистификаторши, а тема закрыта.

Таким образом, альбертовой семье приходилось мириться с ночными гостями из потустороннего мира, которые, к счастью, открытой агрессии к нынешним обитателям квартиры не проявляли и в их повседневные дела не вмешивались.

Альберт же, беспокойная душа, понятное дело, нарушил отцовский запрет и почти каждый день снабжал меня все новыми «страшными историями» из своей домашней жизни, и я охотно подыгрывал ему, замерев в напускной оторопи и не перебивая, хотя, в глубине души, не очень-то всем этим интересовался, вскормленный эпосами куда более реальными и героическими.

Так вот, в тот злополучный день я, вопреки обыкновению, засиделся у друга несколько дольше обычного, засобиравшись восвояси лишь в начале восьмого. В квартире было тепло и весело, а стряпня Елизаветы Александровны просто пела в унисон с моими желудком и сердцем, так что я, быть может, посидел бы еще, если бы не то обстоятельство, что мои родители не были поставлены в известность относительно этого намерения, и исправить это я не мог, ибо наша позиция в очереди на установку телефона была мало обнадеживающей.

Посему я нехотя поднялся, намотал на шею толстенный колючий шарф ручной вязки, нахлобучил на голову добротный собачий треух, сунул ноги в валенки, а руки в рукава уже изрядно поношенного клетчатого пальто и, попрощавшись с Альбертом и его домочадцами, вышел в темный гулкий подъезд, а минутой позже в морозную тишину двора, едва освещенного слабым желтым светом чудом не разбитого фонаря.

До дому было километра полтора, и я резво, насколько мне позволяло мое одеяние, приступил к преодолению этого расстояния. Не пройдя, однако, и сотни метров, я с досадой обнаружил, что забыл в квартире Альберта свои рукавицы, положив их на полочку у двери и не удосужившись взять снова. Такое разгильдяйство было недопустимо, поскольку кожа моих рук уже начинала съезживаться под воздействием тридцатиградусного мороза, а в карманах моего пальто было не намного теплее, чем снаружи. Поразмыслив секунду, я все же решил вернуться, надеясь, что хозяева не разбежались по постелям тотчас же по моему уходу. Конечно, не хотелось снова отсчитывать ступени лестницы темной парадной, но делать было нечего.

Первый, самый маленький пролет, в шесть ступенек... Далее – гвоздь в перилах... Не задеть... Еще четыре пролета по десять... Лестница на чердак по правую руку... Все, пришел.

Уже протянув было руку к звонку, я заметил тонкую полоску слабого света между дверью и косяком и услышал чью-то неразборчивую речь из глубины квартиры. Дверь была, очевидно, не заперта, хотя я отчетливо помнил шелчок за моей спиной, раздавшийся при моем уходе и свидетельствующий, что английский замок захлопнулся. Должно быть, кто-то из соседей навещил хозяев, так как никого, входящего в подъезд с улицы, я не видел.

Что ж, тем лучше. Быть может, я смогу вызволить мои рукавицы без лишнего шума и не потревожив жильцов. Конечно, было не совсем удобно заступать на чужую территорию, не осведомив об этом ее владельцев, но в тот момент мне показалось правильным поступить именно так. Я чуть шире отворил слабо скрипнувшую дверь и скользнул внутрь квартиры.

В передней царил полумрак, рассеиваемый лишь проникающим сюда из-за приоткрытой двери гостиной тусклым светом, который и позволял различать контуры предметов. Странным же было то, что предметы эти я вдруг перестал узнавать, словно видел их впервые. Оглядев-шись в поисках своих рукавиц, которые я надеялся обнаружить на прибитой к стене полочке для ключей, я вдруг наткнулся на стоящую на этом самом месте высокую резную этажерку, цвета которой я в потемках не разобрал, но был уверен, что еще пять минут назад ее здесь не было.

Следующим моим открытием стало то, что и сама входная дверь на ощупь оказалась обитой какой-то клеенкой, местами порванной, причем в дыры эти, произведенные, очевидно, без надлежащей сноровки вбитыми гвоздями, бесформенными лавтаками проглядывала вата. Дверь же квартиры моего друга была с внутренней стороны обита рейкой и аккуратно покрыта лаком.

Первой моей мыслью было, что я запутался в темноте подъезда и по глупой случайности попал в чужую квартиру, из-за чего меня, безусловно, ожидают неприятности. По здравому размышлению я, однако, пришел к выводу, что ошибки все же быть не могло, ибо дверь квартиры этажом ниже была и вовсе железной, а виденная и осязаемая мною пару секунд назад лестница на чердак не оставляла никаких сомнений в том, что я именно там, куда шел.

Тогда в чем же дело, черт возьми?! Не могли же они, в конце концов, за столь короткое время сотворить столь разительные изменения! Да и к чему?

Я стал осторожно продвигаться вперед, дивясь произошедшим в прихожей метаморфозам: ковра на полу не оказалось, а вместо аккуратного шкафчика для обуви у стены был выстроен целый ряд разномастных сапог и туфель, многие из которых выглядели весьма странно, стояли задом наперед или вовсе не имели пары, как мне показалось при беглом осмотре.

Я был настолько ошарашен дикостью происходящего и поглощен все новыми открытиями, что начисто позабыл о цели моего прихода и начал, теперь уже целенаправленно, исследовать помещение. Моя юная кровь не ведала страха, а любопытство, острое, как шило в известном месте, толкало меня вперед.

Так, через узкий коридорчик слева от входной двери я проник на кухню, в которой час назад уминал сочные пироги с капустой. Но ни их запаха, ни полированного обеденного стола, еще давеча стоявшего в углу у окна, в этой кухне не было. Над мойкой же с капающей водой был прилажен такой длиннющий гусак, подобные которому я доселе видел лишь в пищеблоке школьной столовой, где мне пришлось отбывать какую-то очередную педагогическую кару.

Я был не в состоянии объяснить себе решительно ничего из того, что видел. Для девятилетнего школяра, коим я тогда являлся, этого было просто слишком много.

Так и не вспомнив о своих, канувших в небытие, рукавицах, ставших поводом и отправной точкой моего приключения, я вознамерился ретироваться, ускользнув тем же путем, которым и проник сюда. Не желая более рыскать в недрах загадочной квартиры я, осознав наконец рискованность всего мероприятия, решил поставить в нем точку и уже направился было к двери, когда голоса в гостиной вдруг стали громче, послышался стук каблуков, чей-то кашель, и дверь резко, едва не слетев с петель, распахнулась.

Я едва успел укрыться за висевшей на вешалке в прихожей шинелью, как в проеме двери возникла невысокая, но массивная фигура мужчины в военной форме, который, в сердцах ударив кулаком в косяк, замер, борясь с одолевающей его одышкой. Другой участник (или участники?) разговора оставался внутри, не показываясь и не издавая ни звука.

Было очевидно, что мужчина разгневан или крайне встревожен, так как голос, которым он возобновил беседу, дребезжал, как брошенная на асфальт консервная банка, а жесты, посылаемые им в утробу гостиной в поддержку сказанного – резки и импульсивны.

– Ты вообще понимаешь, что происходит? – прошипел он, снова повернувшись к собеседнику всем корпусом и сжимая косяк двери побелевшими от напряжения пальцами. – Они в любую минуту будут здесь и ты знаешь, что тогда произойдет! Как можно быть такой равнодушной к собственной судьбе?

Ответа, однако же, не последовало, или же он был настолько тихим, что я его не расслышал. Мужчина, впрочем, не думал сдаваться и, переведя дух, начал очередную атаку на препятствующий ему бастион упрямства:

– Ну хорошо, хорошо! На меня тебе наплевать, так подумай хотя бы о Егоре! Он не должен платить ни за мои дела, ни за твои грехи!

Немного помолчав и собравшись с мыслями, человек в военной форме продолжал чуть более спокойно:

– Ты же знаешь, как важно сейчас действовать быстро. От этого зависит все! Ну, не упрямься, прошу тебя. Обещаю, что дам тебе свободу, как только мы окажемся в безопасности. Обещаю, слышишь?! А сейчас бери вещи и пойдём, пока еще не совсем поздно! Машина с другой стороны дома.

На этот раз из гостиной донесся тихий, но жесткий женский голос, что-то ответивший хозяину дома без обычных визгливо-умоляющих бабьих интонаций. Этот ответ, должно быть, расстроил и распалил его еще больше, так как он снова вошел в гостиную и принялся увещевать строптивицу с удвоенной энергией. В его речи замелькали незнакомые мне фамилии, термины и аббревиатуры, значение которых стало мне известно значительно позже, как и то, что слова эти являлись синонимами разлуки, боли и унижения, первыми ласточками грядущей беды.

Я не знаю, чем мог бы закончиться спор сурового военного с его упрямой собеседницей, по каким-то своим причинам ни за что не желавшей покидать насиженного места; возможно, ему все же удалось бы убедить ее и все вышло бы по-другому. Но этого ни я, ни он так и не узнали, ибо сценарий судьбы был иным.

Со стороны парадной до моего слуха донесся топот ног и звук четких, отрывисто отдаваемых приказов, после чего входная дверь, которую я так и оставил незапертой, распахнулась, и в прихожей возникли трое облаченных в незнакомую мне форму людей, тут же, не мешкая, прошедших в гостиную. Дверь они за собой прикрыли, что помешало мне отслеживать их дальнейшие действия, к чему я, собственно, и не стремился, пораженный страхом и явной несуразностью своего положения.

Входная же дверь скрипнула еще раз, пропустив в квартиру еще двух сотрудников, на сей раз в штатском. Эти, действуя, видимо, по предварительному стовору, скользнули зачем-то в кухню и там затихли, причем один из них мимоходом прихватил с собой стоявший у стены в передней хозяйский портфель, замеченный мною еще в самом начале моего глупейшего сюда визита.

Первая же тройка уже через несколько секунд вывела из гостиной смертельно побледневшего, что было заметно даже в полумраке прихожей, хозяина квартиры со скованными за спиной руками, бесцеремонно подталкивая его легкими пинками и тычками в спину. И вообще, пришельцы позволяли себе в обращении с арестованным невиданные, на мой взгляд, вольности, покрывая его отборной бранью и затрецинами, а один из них даже смачно плюнул ему в лицо, назвав «грязной троцкистской собакой». Мужчина молча сносил унижения, смирившись, видимо, с таким поворотом судьбы, и никаких попыток воспротивиться действиям незваных гостей не делал.

После того, как шаги в подъезде отзвучали, двое оставшихся покинули кухню и неспешно принялись за вторую часть программы. Сейчас мне кажется если не удивительным, то, по крайней мере, странным то обстоятельство, что обычного для бойцов Народного Комиссариата грабительского обыска не последовало, и даже ящики серванта, который был мне хорошо виден через распахнутую теперь дверь гостиной, остались невыпотрошенными. Остается думать, что

задание работников столь скрупулезного труда было в тот день очень четким и определенным. Произошедшее мне и сегодня кажется кошмаром, словно я никак не могу проснуться и вынужден переживать события того вечера снова и снова.

Оставшийся в квартире дуэт в штатском исполнил свою миссию слаженно, молча и, как мне показалось, со знанием дела. Одна из этих серых личностей прошла в ванную комнату, дверь в которую находилась совсем рядом с моим укрытием, и включила воду. Второй же сотрудник скрылся в гостиной, чтобы через несколько мгновений появиться снова, таща за собой по полу, словно куль с мукой, одетую в одну лишь розовую ночную рубашку женщину трудноопределимого возраста, чьи длинные светлые волосы он удобства ради намотал себе на руку. Рот женщины во избежание лишнего шума был чем-то заклеен, а руки связаны за спиной. Но, похоже, жертва и не намерена была сопротивляться или звать на помощь. Напротив, она, отдавшись произволу карателей, была совершенно безучастной и даже не мычала, чего я, признаться, ожидал.

Тут первый палач, завершив подготовительные работы, пришел на помощь напарнику, и вдвоем они без особых хлопот транспортировали жертву в ванную комнату, откуда затем послышался всплеск погружаемого в воду тела.

Несколько минут спустя эти двое снова появились в прихожей, перебрасываясь короткими фразами, которых я не расслышал. Затем один из них проследовал в спальню и, вернувшись уже через секунду, бросил коротко: «Спит». Второй кивнул, и оба карателя, не мешкая более, покинули квартиру, прикрыв за собой дверь.

Ни жив ни мертв, я еще целую вечность не покидал своего убежища за старой шинелью, не в силах охватить произошедшее своим детским разумом.

Когда же я, в полной уверенности, что спятил, выполз-таки из-под спасительного, пахнущего пылью и табачным дымом, драпа, первой и самой логичной моей мыслью было немедленно и навсегда покинуть треклятое жилище.

Однако вторая мысль заставила меня вспотеть, замерев среди прихожей: А что, если и там, снаружи, все по-другому? Что, если времена и воля ухмыляющегося мне с висящего над дверью в гостиную портрета усатого человека в военном кителе распространяются не только на эту квартиру, но и на весь внешний мир? Что тогда?

Утерев липкий пот со лба, я попробовал взять на вооружение третью, мелькнувшую у меня, мысль, предлагающую утешение: «Мне все это почудилось. Ничего не было. Все живы, а квартирой я и в самом деле ошибся, не смотря на чердачную лестницу...» Я с радостью готов был оказаться сумасшедшим, лишь бы эта, третья, мысль оказалась верной!

Но теория требовала подтверждения, а для этого я должен был заглянуть в ванную комнату. Невиданным усилием преодолев страх, я приоткрыл отделяющую меня от правды дверь и, прильнув глазом к образовавшейся щели, заглянул внутрь, чтобы сейчас же с истошным криком отпрянуть: ванна, занимающая добрую половину комнаты, была полна бурой воды, а торчащие из нее две белые ноги и рука с серебристым браслетом недвусмысленно намекали на скрытое под этой водой содержимое.

В порыве кричащего ужаса я готов был бежать, позабыв о возможно ожидающих меня снаружи новых кошмарах и неизвестности, но, едва обернувшись, столкнулся с только что вышедшим из спальни мальчонкой лет пяти-шести, смотревшим на меня удивленно, но без страха. Он был в пижаме, тер глаза и производил впечатление только что проснувшегося.

«Ты кто?», – машинально спросил я его, не зная более, что думать и во что верить.

«Я – Егор, – так же привычно ответил мальчик. – А где мама?»

«Мама – там», – милосердно указал я заспанному Егору на дверь ванной комнаты и бросился к выходу. Не имея ни желания, ни сил разбирать новые загадки, я стремглав слетел вниз по лестнице и, к вящей своей радости, оказался дома, в январе 1989-го года.

Глава 2

Галактион

Мои родители изуродовали меня сразу после моего рождения. Нет-нет, с изуверством, пьянством или избиением младенцев это не имеет ничего общего – просто они дали мне имя Галактион, которое я не без внутреннего отвращения ношу по сей день.

Само по себе это прозвище, скорее напоминающее собачью кличку, быть может, и не хуже других, но в позднем Советском Союзе, изобилующем совсем другими буквенными сочетаниями при обозначении человека, оно было большим перегибом.

В общем, мое мировоззрение формировалось под влиянием слова «Галактион» и реакций на него окружающих, предложивших мне необычайно богатую палитру насмешек, подтруниваний и издевательств, начиная с ежеминутного торжественного декламирования моего несчастного имени и заканчивая именованием меня женским понятием «Галя». Да что там говорить: даже учителя и преподаватели не гнушались того, чтобы лишний раз подчеркнуть несуразность моего названия, вызывая меня всегда строго по имени, тогда как при обращении к моим одноклассникам в большем ходу были фамилии. В общем, всем было весело и я веселился вместе со всеми, лишь глубоко в душе противопоставляя себя всему миру. Друзей я поэтому имел немного, а свободное время охотнее проводил в обществе литературы и собственных мыслей, чем в шумных играх и суете школьной и дворовой жизни. Таким образом, двигался я мало и, как следствие гиподинамии, имел приличное число килограммов избыточного веса, моментами грозившее стать неприличным. Это, в свою очередь, побуждало моих товарищей по редким забавам к дополнительным издевкам, и в имитации войны, столь популярной в те годы среди детворы, мне неизменно отводилась роль начальника рейхсканцелярии Третьего Рейха Мартина Бормана (бывшего, как известно, довольно тучным), которого непременно разоблачали, пытали и расстреливали. Но я привык и обиды не показывал, планируя отыгратья позже.

Единственным человеком, которого я мог тогда назвать своим другом, был сын партийного функционера средней руки Альберт Калинин – тщедушный, страдающий астмой парнишка, так же мало, как и я, заинтересованный в спортивных победах и первенстве в коллективе, зато бывший верным товарищем и просто приятным собеседником. Наши баталии мы разворачивали большей частью на шахматной доске, а редкие вылазки в «большой мир» старались ограничивать чердаком его дома, где жили голуби и наши фантазии, да садом расположенного по соседству Дворца Пионеров, когда он, конечно, не был оккупирован враждебными нам дворовыми компаниями. Кстати сказать, одному лишь Альберту дозволялось называть меня моим отвратительным именем, поскольку, произнесенное им, оно звучало без издевки.

Нам было достаточно общества друг друга, потому что несуразность моего имени и веса уравновешивалась болезненной слабостью и очками Альберта, который, впрочем, не комплексовал по этому поводу или же успешно скрывал свои комплексы.

Мне нравилось бывать в доме моего друга и вечера мы часто проводили вместе, а особенности его квартиры, описанные мною выше, добавляли толику неповторимого таинственного аромата в мою жизнь и нашу дружбу.

Вернувшись домой в тот морозный январский вечер, когда мне случилось быть свидетелем безобразной сцены, произошедшей когда-то в альбертовой квартире, я не сразу смог успокоиться. Да что там! – спокойствие покинуло меня навсегда. Нереальность событий была столь очевидной, что я не рискнул никому о них рассказывать, боясь вызвать обоснованные подозрения касательно моего психического здоровья. Если совершенное на моих глазах преступление и походило на зарисовку дешевого детектива, то ситуация и время, в котором оно произошло,

и, главное, мое в этом участие не подлежали сколько-нибудь разумному толкованию. Я не смел надеяться, что кто-то из взрослых, полагающих себя всезнающими и всемогущими, поверит в эту историю. А если и поверит, что это даст? Правда, у меня появились некоторые мысли по поводу призраков в квартире Альберта, но, боюсь, делиться ими мне пришлось бы с психиатром, к чему я не очень стремился.

Но не скажу, что я бездействовал. Будучи глубоко тронут пережитым и несколько раз увидев во сне Егора, о чем-то назойливо меня просящего, я решился-таки попробовать узнать хотя бы что-то из истории этого дома и его жильцов. Что-то, могущее пролить каплю света на тайну, захватившую мои мысли и перевернувшую в моей голове все вызубренные мною и одобряемые Советами законы бытия.

Итак, вооруженный наивной решимостью, я отправился в единственное место, где, по моим тогдашним представлениям, складировалась подобная информация – в паспортный стол родной милиции. Там я, встав на цыпочки, потребовал у сидящей за окошком и взирающей на меня как на клопа дамы удовлетворить мое любопытство.

Полагаю, нет необходимости описывать здесь мои унижение, подавленность и чувство собственной никчемности, возникшее у меня после ее «ласкового» ответа.

Мои эмоции были столь сильны, что я, поджав хвост и скуля, ретировался и более уж не предпринимал подобных попыток, чреватых окончательной утратой всякого человеческого достоинства.

Позже мне стало ясно, что та милая сотрудница за окошком в силу своей незначительности просто не имела, да и не могла иметь доступа к искомой мной информации, тем паче полномочий передавать оную какому-то сопливному юнцу, с видом первопроходца «толпящемуся» перед ее напудренным носом.

Тем не менее, неудача испепелила мою волю и я поклялся себе, что выброшу все случившееся из головы, по меньшей мере, не стану более доверяться внешнему миру, имея свой внутренний – куда более надежный и понятный.

Наверное, я так бы и поступил, заперев тревогу в клетку воспоминаний, если бы не одно обстоятельство, вынудившее меня открыться Альберту во спасение нашей дружбы.

Дело в том, что я не мог больше в одиночку переступать порог его квартиры. И речь идет не о моих внутренних страхах или комплексах, но об обыкновенной физической неспособности это сделать.

А открылось это так: Пару дней спустя после моего визита в семью Калинских, принявшего столь странную форму, я решил-таки вернуть себе злосчастные рукавицы, из-за которых столько натерпелся и принести которые в школу Альберт постоянно забывал. Сам бы я, скорее всего, махнул рукой на эти два комочка сплетенной воедино шерсти, но нервоотрепка, устроенная мне по этому поводу матерью, вынудила меня к действию.

Для виду кляня его рассеянность, но большей частью все же из любопытства, беспрестанно зудящего где-то в горле, я вновь решил составить другу компанию при поедании стряпни тещи его отца. Пока Альберт, поднимаясь по лестнице, весело и абсолютно антисоветски болтал про какие-то там японские изобретения, мои мысли были заняты более волнующим меня вопросом, а именно тем, что ждет нас сейчас по ту сторону входной двери? Каким окажется «внутреннее убранство» такой знакомой и не знакомой квартиры? Признаюсь, в голове моей был полный сумбур и лишь юношеская моя бесшабашность заглушала противные импульсы страха.

Но нас ждала Елизавета Александровна, как всегда гостеприимная и излучающая тепло и доброту, а мои рукавицы, которые я успел возненавидеть, лежали точно там, где я их оставил – на полочке для ключей у входной двери, смиренно дожидаясь моего возвращения.

У меня, что называется, отлегло от сердца. Или камень с души упал, как вам будет угодно. Все, похоже, встало на свои места и мое приключение здесь было единичным случаем, если

вообще имело место. Обрадованный этой новостью, я весь вечер смеялся больше обычного и был как никогда общителен.

Однако же моя уверенность была чистой воды заблуждением. В этом я убедился уже на следующий день, когда, забыв об осторожности, взлетел вверх по лестнице следом за поднявшимся пятью минутами ранее Альбертом и, посчитав, что это именно он не стал плотно закрывать входную дверь в ожидании моего прихода, толкнул ее и переступил порог.

Первым, что я увидел в прихожей, был все тот же портрет Отца Народов, висевший, как и во время моего первого сюда визита, над дверью в гостиную и наблюдаемый мною с тех пор неоднократно в тревожных ночных видениях. Генералиссимус так же, как и тогда, взирал на меня с усмешкой Моны Лизы, оставаясь незыблемым символом того времени, в котором я вновь оказался. На сей раз просто по неосторожности.

У меня захватило дух. Значит, все – правда и волей каких-то сил я опять здесь. Что-то, неведомое мне, приводит меня сюда снова и снова, словно отведя мне какую-то роль или миссию в этой истории. Какую же?

Я был тогда слишком юн, чтобы рассуждать хладнокровно, тем более в той самой прихожей, где я стал свидетелем страшного деяния. Взглянув на дверь ванной комнаты, я тотчас же вспомнил торчащие из кровавой воды ноги и, преисполнившись воскресшей во мне паники, бросился вон из квартиры и подъезда, начисто забыв о ждущем меня Альберте. Да и как мог бы я к нему попасть, если постоянно оказывался в этой, уготованной мне, берлоге страха? Чем провинился я перед провидением, что оно раз за разом посылает мне такие испытания?

Мои сделанные назавтра попытки объяснить другу мое отсутствие какими-то банальными причинами и отговорками не имели успеха, и я, заметив на его лице тень зарождающейся обиды, отказался на время от данной самому себе клятвы и поведал Альберту о своих злоключениях в недрах его (или не его?) квартиры. Сначала он смотрел на меня как на динозавра, затем с явным скепсисом и, наконец, с легким недоверием. В итоге же жажда чудесного и здоровый мальчишеский романтизм взяли верх, и он пришел в великое возбуждение, недоумая лишь, что я сразу не доверился ему и вообще он, как живущий в этом доме, имел больше прав на такие приключения, чем я. На мой резонный вопрос, где бы он тогда ночевал, Альберт не нашел ответа.

Сколько бы раз мы с ним после этого не пробовали вдвоем переступать порог его квартиры, мы неизменно оказывались именно там, куда шли – у него дома. Никакие ухищрения типа завязывания альбертовых глаз или заступания его жилплощади задом наперед никакого результата не принесли, если не считать того, что доведенная нашим поведением до исступления Елизавета Александровна пообещала нас обоих выпороть.

Во избежание этого мы тщательно заперли дверь и вышли во двор, после чего я стал подниматься по лестнице в одиночку, желая довести эксперимент до конца. Однако, уже за несколько метров до двери заметив, что она в ожидании меня приоткрыта, я повернул назад, не желая более испытывать судьбу и трепать себе нервы.

Никакими силами не смог Альберт уговорить меня еще раз переступить порог той квартиры, и к нему в гости я с тех пор наведывался лишь в чьем-либо сопровождении. Он, правда, пробовал обижаться, но этот бесхитростный шантаж также ни к чему не привел, и мы оставались добрыми друзьями все время, пока он был жив. Ну, или почти все время...

После того, как его не стало, мне не доводилось бывать в этом доме, который со временем превратился из элитного в самый заурядный и находился теперь в одном из третьесортных кварталов города. Память о друге осталась в моем сердце, воспоминания же о постигшем меня годы назад в его доме злоключении постепенно притупились, не имея подпитки. И лишь роясь в ставших мне вдруг доступными – пусть и не в полном объеме – недрах архива, я осознал, насколько важными и, быть может, судьбоносными они являются.

Глава 3

Первый визит к профессору

В легком полумраке подкрадывающегося вечера я достиг, наконец, цели моей поездки. Колеса моего уставшего «Ауди» мягко зашуршали в гравии, обильно покрывающем площадку перед массивными воротами, внушительные размеры которых были более характерны для современного Подмосковья, нежели прилегающих к живописному Майну территорий. Фонари над воротами были уже включены, и не оставалось сомнений, что мое прибытие заметили. Закашлявшись, я с отвращением посмотрел на лежащую на соседнем сидении пачку капсул «Ципробоя» – сильнейшего антибиотика из последних, которые вот уже несколько дней вынужден был принимать по причине острого бронхита. Капсулы были, разумеется, безвкусными, но регулярный прием медикаментов делал меня ущербным в собственных глазах, и я не мог с этим мириться.

Проглотив белый желатиновый цилиндр и покинув салон, я немного попрыгал и побряк-тел, разминая затекшие за три с половиной часа пути конечности, затем подхватил с заднего сидения сумку с документами и разной дребеденью и направился к воротам. «Ауди» пожелал мне удачи, синхронно моргнув подфарниками и характерно шелкнув.

На мой звонок у калитки измученный чем-то женский голос поинтересовался моим именем и, услышав его, каким-то образом поспособствовал тому, что дверь открылась, пропуская меня во двор.

Уже через пару десятков секунд невысокая седовласая женщина, велев мне разуться, вела меня через весь дом в кабинет своего хозяина, который, по ее словам, ждал меня там. Она не представилась, но, окинув меня беглым взглядом, выговорила мне за двадцатиминутное опоздание, которое-де нарушило планы профессора. Я не стал оправдываться и не обиделся, будучи знаком с такой породой людей, начинающих тебя поучать и делать тебе глупейшие выговоры, заметив лишь, что ты несколько моложе. Что же взять с престарелой экономки, если этим грешат даже наиобразованнейшие и наиумнейшие, с точки зрения масс, представители общества?

Женщина, сделав мне знак остановиться, сунула голову в какую-то дверь и сказала туда что-то, после чего вновь обернулась ко мне и словами «Можешь входить» изъявила свое согласие на мой визит к ее хозяину. Я поблагодарил Бабу Шуру (в России ее, безусловно, звали бы именно так) за любезность и вошел в кабинет.

Сидящий за письменным столом человек отвлекся от экрана компьютера и, с видимым усилием поднявшись, вышел мне навстречу. Его медленные, вымученные движения, бледность и носившийся в воздухе запах какого-то лекарства говорили о том, что он либо болен, либо совсем недавно перенес болезнь, сведшую на нет его физические возможности. Даже безупречно сидящий коричневый в полоску пиджак, казалось, давил на его плечи тяжким грузом, который он нес лишь из-за пресловутого «положение обязывает». Пепельно-белые волосы старика были тщательно уложены на косой пробор, а безупречная, несмотря на изможденность, осанка и трость черного дерева, которую он сжимал в правой руке, создавали законченный образ престарелого европейского аристократа.

Несколько секунд человек молча изучал меня, и под цепким взглядом его усталых, но пронизательных глаз мне захотелось поежиться. Наконец, он, переложив трость в левую руку, поприветствовал меня крепким энергичным рукопожатием, не совсем сочетающимся с его возрастом и физической формой. Указав мне на стоящее в самом центре комнаты массивное кожаное кресло, он вернулся на прежнее место за столом и, призывно постучав пальцем по рычагу выдавшего виды телефона, потребовал принести холодной воды и кофе, чем полностью угодил мне, хотя и не дал себе труда поинтересоваться моими предпочтениями. Я попытался было

заговорить, но хозяин дома жестом остановил меня, дожидаясь, пока будет исполнено его пожелание, и лишь после того, как я выпил стакан режущей горло минералки и отхлебнул принесенного уже знакомой мне женщиной свежесваренного кофе, начал разговор:

– Так кто же Вы, молодой человек? – взгляд его продолжал меня изучать, я же был благодарен ему за то, что он лишний раз не назвал меня по имени. – В телефонном разговоре Вы сказали мне, что дело, которым Вы интересуетесь, не имеет отношения к Вашей профессии, из чего я сделал вывод, что Вы не историк и не журналист, или я ошибся?

– Нет, профессор, Вы правы. Я не историк, а журналист из меня такой же, как из бандита проповедник.

Признаться, своим изречением я хотел вызвать улыбку старика, чтобы как-то снять напряженность, но плоская шутка не прошла и мне пришлось отказаться в дальнейшем разговоре от подобных попыток.

– Я, профессор, скажем прямо, человек с улицы, и к Вам меня привела лишь моя неумная любознательность. Нет-нет, не подумайте, я не интересуюсь Вашими экспериментами и открытиями, то есть, я хочу сказать, о них можно прочесть в Ваших книгах и публикациях... Я же напросился к Вам потому, что, как мне кажется, Вы могли бы пролить свет на некоторые события, произошедшие со мною в детстве и не дающие мне до сих пор спать спокойно. Думаю, Вас, как ученого и исследователя такого рода явлений это могло бы заинтересовать, – опасаясь, что профессор, разочаровавшись, вдруг прервет наш разговор и выставит меня вон, я сразу взял «с места в карьер»...

Здесь я, полагаю, должен сделать некоторое отступление и пояснить, как и с какой целью я оказался в доме профессора Райхеля, имевшего резиденции в четырех странах, включая Индию, и обретшего известность в определенных кругах благодаря своим работам в области метафизики, эзотерики и парапсихологии, путешественника, прошедшего, среди прочего, несколько лет адептом в одном из индийских ашрамов и выпустившего по итогам пребывания там труд «Вертикальные или временные порталы», который взорвал умы тысяч и стал причиной бесчисленных паломничеств в Индию, к источнику Знаний.

Пребывая в постоянном подсознательном поиске объяснений моим детским приключениям в альбертовом доме, я пару месяцев назад наткнулся на эту книгу в одной из библиотек и, с удивлением обнаружив, что резиденция Райхеля находится лишь в трех сотнях километров от города, где живу я, решил во что бы то ни стало добиться его аудиенции и поведать ему мою старую тайну, в надежде услышать его оценку ее правдоподобности. Была у меня и еще одна причина для этого, но о ней чуть позже.

Как ни странно, это оказалось не так уж и сложно: я просто разыскал в телефонном справочнике интересующий меня номер, позвонил и, прорвавшись через не очень плотный кордон нелюдской экономки, попросил профессора встретиться со мной в любом удобном ему месте и времени. Поскольку свою просьбу я, взволнованный удачей и пораженный вдруг одолевшим меня косноязычием, сформулировал именно так, Райхель убийственно серьезным тоном предложил мне встретиться в Вавилоне. Впрочем, перебив меня посреди извинений за безграмотность, он снизошел до узости моих возможностей и перенес встречу в свой загородный дом и реальное время, которое он, однако, определил как «кажущееся Вам реальным».

И вот я здесь. Сажу в огромном черном кресле, прихлебываю из большой фарфоровой кружки остывший кофе и жду комментариев профессора к моему рассказу, которые, как я надеюсь, последуют, после того как он ознакомится с копиями обнаруженных мною в архиве документов, которые я протянул ему через стол четверть часа назад и в которых пережитое мною описывалось еще раз, но уже казенным языком и в свете тогдашних представлений о законности и справедливости.

Тем временем я осмотрелся в комнате. Две ее стены – за спиной хозяина и справа от него – сплошь состояли из стеллажей, заполненных книгами. Причем, в отличие от библиотек, украшающих кабинеты многих университетских преподавателей, даже самые верхние полки здесь не были затянуты паутиной и не содержали безвкусного собрания оплавленных свечей, рогов для питья «а ля восьмидесятые» и сломанных кофеварок, а противоположная стена была украшена превосходными рогами марала и несколькими пестрыми масками, принадлежащими к индийскому или шриланкийскому фольклору, а не запыленными грамотами за какие-то там, пережившие все сроки давности, заслуги, вроде первого применения банки из-под майонеза для сбора мочи, или сертификатами, дающими право заниматься грязелечением.

Дальнейшим моим наблюдением было то, что окна в профессорском кабинете отсутствовали, а единственным местом размещения посетителей было кресло, которое я сейчас занимал. Видимо, льющийся из двух отверстий в потолке мягкий желтый свет должен был всегда оставаться ровным и не перемешиваться с солнечными лучами, а одного собеседника всегда оказывалось достаточно.

Наконец профессор закончил ознакомление с документами и перевел взгляд на меня:

– То, что Вы рассказали мне, Галактион, достаточно интересно, в особенности для меня, помешанного на феноменах такого рода, – тут мой собеседник в первый раз едва заметно улыбнулся. – Если все детали Вами описаны верно, то у меня есть все основания полагать, что в районе той квартиры функционировал горизонтальный портал, или, проще сказать, портал во времени. Но кем он был открыт и, самое главное, для чего? Существует, конечно, вероятность того, что портал был естественным, так сказать, природным, но то обстоятельство, что он функционировал лишь в Вашем случае и открывался только тогда, когда Вы приближались к квартире в одиночку, заставляет меня в этом усомниться, – Райхель сокрушенно покачал головой, словно подкрепляя этим свои сомнения.

– Так кто же мог сыграть со мной такую шутку? Человек? Маг?

Мое неосознанное разграничение магов и людей, по видимому, повеселило моего собеседника, и он несколько мгновений надсадно кряхтел, что должно было, насколько я могу судить, означать смех. Впрочем, он тут же снова посерьезнел и выдал что-то скорее религиозно-философское, нежели научное: – Не обязательно... Видите ли, Галактион, во всем, что происходило, происходит или когда-то произойдет, что, в прочем, одно и то же, всегда виден промысел Божий. Перечить судьбе и пытаться противиться ей пустой бравадой может лишь глупец, и в небесных нардах кости всегда выпадают с необходимым количеством глазков. Я непонятно выражаюсь? Скажу проще – все случается именно так, как угодно Небу, и глупо доискиваться причины того, что, к примеру, Вечность длится вечно... Можно лишь смиренно созерцать, благодаря за ниспосланное нам откровение. Ну, да ладно, все это – высокие материи, я не поп, а Вы склонны пока мыслить более буднично. Так что же Вы собираетесь делать? – профессор смотрел на меня, как мне показалось, чуть насмешливо, но с интересом. – Хотите ли Вы, что называется, «разобраться во всем» или же избавиться от воспоминаний? Могу сразу сказать: ни первое, ни второе вам не удастся, и лишь относясь ко всему этому с известной долей скепсиса, Вы сможете жить относительно спокойно, не травя себе душу всякого рода мистикой. Или есть что-то еще, не позволяющее Вам утомиться?

Райхель, казалось, смотрел мне в самую душу. Поняв, что с этим человеком нужно быть откровенным до конца – а иначе и приходить сюда не следовало – я, не без внутренней дрожи, протянул ему письмо, полученное мною несколько месяцев назад, еще во время моей оседлой жизни в одном из городов на просторах Российской Федерации.

То, что это послание вообще до меня дошло, уже было весьма примечательно, ибо в мой заплеванный и забитый окурками почтовый ящик, находящийся в ряду таких же между пер-

вым и вторым этажами нашего темного и грязного подъезда, я не заглядывал уже несколько лет, по праву отчаявшись когда-либо обнаружить в его клейком нутре что-либо интересное. Однако в тот день, проходя мимо и ругаясь по поводу хрустящих под ногами стекол от пивных бутылок, я вдруг заметил сиротливо торчащий из него уголок конверта, что уже само по себе было приключением. По стародавней привычке отсчитав шестой ящик слева и убедившись, что это именно мне столь явственно напомнили о существовании почты как таковой, я, с брезгливостью приподняв за уголок грязную железную заслонку, извлек оттуда почти квадратный слабо-оранжевый конверт весьма странного вида, с тремя штемпелями, большинство знаков на которых не пропечатались или были смазаны, и красным текстом на лицевой стороне: «Ищите каучуконосные растения! Они освободят СССР от иностранной зависимости и укрепят оборону нашей страны. Сообщайте обо всех растениях, подозрительных по каучуку!». Несомненно, конверт принадлежал тридцатым годам двадцатого века, когда сей шедевр советского типографского искусства был широко распространен. Я не мог не вспомнить обнаруженную мною когда-то в сундуке умершей прабабки почтовую карточку с недвусмысленным призывом разводить и выращивать свиней, обеспечивая тем самым себя и страну салом и мясом, а промышленность сырьем, и улыбнулся.

Но улыбка моя погасла, стоило мне повнимательнее осмотреть находящийся в моих руках реликт, почерк на котором заставил меня сначала похолодеть, а затем вскипеть от ярости, вызванной столь беспардонной и глупой шуткой.

Он был мне хорошо знаком, ибо принадлежал моему другу Альберту Калинскому, погибшему шесть лет назад и пребывающему теперь совсем не в той физической форме, чтобы писать письма. Да и штемпели советской почты ни с чем нельзя было спутать (в прошлом страстный филателист, я немного в этом разбирался), а поскольку упомянутой державы, Божьей милостью, уж тринадцать с лишком лет было не сыскать на карте мира, а такая задержка доставки даже для этого государства представлялась маловероятной, то я и вовсе не знал, что и подумать. Оставалось одно – вскрыть конверт и ознакомиться с содержанием письма, если таковое там обнаружится.

Таковое обнаружилось и донесло до меня следующие, записанные какими-то фиолетовыми чернилами и все тем же знакомым ровным почерком, мысли:

«Галактион!

Мысли и страхи твои, связанные с той старой квартирой и моей смертью, мне ведомы. Ты, должно быть, все еще винишь себя за то, что мне пришлось «передислоцироваться» в могилу, и я понимаю тебя, ибо сам, безусловно, испытывал бы то же чувство. Однако же, существуют обстоятельства, о которых ты не подозреваешь, и в истории той не все так явно и незыблемо, как ты себе, должно быть, вообразил. В жизни вообще едва ли есть твердые истины, и лишь смерть скрупулезно расставляет все по своим местам.

Думаю, пришла пора тебе распутать клубок противоречий, засевший у тебя в голове и не дающий тебе нормально существовать, тем более что твоя роль во всей этой истории не менее значима, чем моя. Ты ни разу не был на моей могиле и гадаешь, простил ли я тебя... Но все не так. Ты должен прийти и узнать. Так приди и узнай.»

Профессор читал послание покойника с видимым интересом и, похоже, нимало не сомневался в его подлинности. Он поверил мне на слово, что рука, писавшая письмо, принадлежит Альберту, живущему вот уже без малого семь лет лишь в воспоминаниях родных и близких, а штемпелям советской почты, казалось, и вовсе не придавал значения. Этот человек не нуждался в каких-то обывательских или научных доказательствах чего бы то ни было для формирования собственного суждения, и мне это очень импонировало, ибо, будь я вынужден привлекать в помощь своим словам разного рода экспертизы и глубококомысленно-тупые заключения «при-

знанных» ученых, я бы, безусловно, отказался от этой затеи, памятуя мое давнишнее общение с ретивой служительницей священного паспортного стола Страны Советов.

По прочтении письма Райхель вернул его мне, поинтересовавшись, в чем же, собственно, состоят мои сомнения.

– Выбор у Вас, молодой человек, так скажем, небольшой. Если все изложенное Вашим мертвым другом – правда и Вы действительно чувствуете себя... ммм... неудобно, то следуйте его указаниям, уповая на Господа. Или же выбросьте письмо и позабудьте обо всем. Быть может, его смерть и не имеет ничего общего со странностями квартиры, в которой он жил, а может быть, и имеет... Что Вам с того?

– Хорошо, профессор, положим, я все обдумал и полон решимости, так с чего мне начать?

Брови старика удивленно приподнялись:

– Что значит, с чего? Вы же получили совершенно ясные инструкции: Приди и узнай! – он помолчал и взглянул на меня, как мне показалось, уже сердито. – Кстати, раз уж Вы пришли ко мне... Должен я сам догадываться о Вашей вине перед покойником, упомянутой в письме, или Вы будете столь любезны просветить меня касательно этого факта Вашей жизненной истории?

Почувствовав, что краснею, я порывисто сжал в пальцах возвращенное мне письмо, по неловкости несколько смяв его. История смерти Альберта была самым отвратительным моим воспоминанием и самым грязным пятном на моей душе, вывести которое не удавалось никакими средствами: ни любовью, ни радостью, ни геройствами. Быть может, именно сейчас мне предлагается действенный «пятновыводитель»? Прикончив последние капли совсем холодного кофе, я все рассказал профессору метафизики, оккультизма и так далее Георгу Райхелю. И пусть во время рассказа мне пришлось еще раз пережить всю гамму малоприятных чувств, охвативших меня в те сумасшедшие дни, я считаю, это явилось действенной терапией моей мятущейся души.

Глава 4

Грязное пятно

Была осень 1997 года. Дождливый октябрь оказывал свое удручающее влияние, давя к земле и без того паршивое настроение. Терзаемые порывистым холодным ветром голые ветви облетевшего клена царапали оконное стекло, и этот монотонный скрип вкупе с чавканьем разрываемых автомобильными шинами луж на улице да гудением задействованной где-то неподалеку ассенизаторской машины вызывал стойкий рвотный рефлекс.

Я устроил себе что-то наподобие каникул, презрев очередной цикл каких-то лекций и вознамерившись провести несколько спокойных ленивых дней в родном городе. Если бы я знал, что эти дни окажутся настолько нудными и противными, я бы, безусловно, с большим удовольствием провел их в своем студенческом общежитии, заодно избежав сдирающего кожу зудения матери по поводу грозящего мне за нерадивость отчисления из института и, следовательно, мобилизации в Вооруженные Силы.

В тот день самочувствие мое было, что называется, хуже некуда, ибо ко всему вышеперечисленному добавилось еще тягостное чувство брэнности мира, возникшее у меня после посещения психиатрической лечебницы, где я, сопровождаемый парой бывших одноклассниц, навестил моего друга Альберта. Да-да, выше я об этом не упоминал, но начавшаяся в девятом классе болезнь выбила моего многолетнего соратника из жизненной колеи, сделав необходимым его ежегодное многомесячное пребывание в доме скорби и закрыв для него всякие перспективы, кроме перспективы быть рано или поздно помещенным в дом-интернат для психохроников. В свете таких размышлений рекламный слоган одной известной страховой компании «Мы предлагаем вам дом на всю жизнь!» выглядел весьма цинично, если не сказать издевательски.

Альберт спятил в одночасье и совершенно классически. Настолько классически, что его случай, несомненно, не нашел бы места в журналах по психиатрии и не мог бы явиться толчком для разработки какой-то новой диагностической методики, ибо все симптомы, которые явил мой друг своему окружению, были давно изучены и до мельчайших деталей известны. Нет надобности на этих страницах описывать сомнения, страхи и защитное, а впоследствии агрессивное поведение Альберта, повлекшее за собой вызов кареты скорой помощи, фиксирование пациента тряпичными лямками и первые в его жизни уколы нейролептиков, которые с того времени он должен был получать регулярно. А так как произошло это прямо в школе, на уроке истории, при прохождении, если я верно помню, темы о победоносном шествии Красной Армии по профашистской Финляндии, то и дикие крики Альберта, и суета, и лямки, и грязный халат ударившего его в живот санитаря мне запомнились весьма отчетливо, буквально въелись в память, как первая любовь. Помню собственный ужас и последовавшую за ним озадаченность ситуацией, столь незнакомой и, для меня тогдашнего, из ряда вон выходящей. Лишь позже я узнал, что альбертовы родные уже в течение нескольких недель до этого били тревогу, заметив в сыне разительные перемены, да, к сожалению, ограничивались при этом пределами собственной квартиры, ибо сама мысль о психиатре была им нестерпима.

Наша с Альбертом дружба, вопреки моему желанию и искренним попыткам ее поддерживать, стала ослабевать и постепенно сошла на нет. Даже во время его отдохновений от приступов, когда он был дома и пытался, как он поначалу заявлял, нагнать школьную программу, было заметно, что друг мой нездоров. Его нарастающая апатия, молчаливость и равнодушие к прежним увлечениям постепенно привели к тому, что у нас не осталось не только общих тайн, но и общих тем для разговора. Да и, признаться, разговором наше общение назвать было трудно. В моменты, когда я его навещал, мы просто молча сидели в разных углах комнаты, и я наблюдал, как когда-то такой живой и полный идей Альберт смотрит в одну точку и ковыряет

в носу, нимало не заботясь затем о том, куда пристроить добытую оттуда субстанцию. Он пренебрегал самой элементарной гигиеной, игнорировал замечания и сидел обросший, невымытый и неухоженный, несмотря на все потуги его матери держать сына в приемлемом виде. От него на расстоянии разило кислым потом, плесенью и мочой, и находиться рядом с ним сколько-нибудь продолжительное время было невозможно. Редкие гости старались, как могли, завуалировать неминуемо возникающее чувство брезгливости, но и в этом не было надобности: Альберт просто не обращал ни на что внимания, пребывая в своем, оскудевшем и безликом, мире. На улицу он почти не выходил, запершись в своей берлоге и все более напоминая покалеченное животное, стремящееся забиться в темный угол и издохнуть. На его небритую, с лафтаками засохшей слюны в редкой щетине, физиономию и трясущиеся, с коричневыми от табачного дыма нестриженными когтями руки было страшно смотреть, в его комнате навсегда повис тошнотворный запах безнадежности, и жизнь его была лишена всякого смысла и будущего.

Мать Альберта, поначалу преисполненная сострадания и заботливости к сыну, также не выдержала испытания временем: силы ее подорвались, а нервы сдали. Из еще молодой и жизнерадостной женщины, какой я знал ее до его болезни, она за несколько месяцев превратилась в старуху, согбенную и несчастную. Ее губы перестали улыбаться, сжавшись в нитку, а вокруг рта и на лбу появились глубокие морщины, из тех, что не исчезают при помощи косметики. Она перестала здороваться на улице, не замечая знакомых лиц или делая вид, что не замечает, и начала избивать сына, будучи не в силах больше бороться с его недугом. Больная и разбитая, она подала заявление на помещение его в специализированный интернат, но добилась лишь места в очереди, в виду переполненности заведений такого рода и обилия таких же сердобольных мамаш и детей, жаждущих передать своих близких на полное государственное обеспечение. Узнав, что ее избавление от сына будет отсрочено, она пыталась скандалить и имитировать обморок в городской администрации, затем объявляла голодовку, глотала таблетки и писала президенту, но все тщетно: в государственный план по изоляции психических больных на текущий год Альберт не попал.

Я как никто далек от того, чтобы осуждать эту женщину, ибо истинные размеры ее мучений мне не ведомы, но впоследствии и я, по какому-то внутреннему побуждению, избегал встречи с ней, всякий раз переходя на другую сторону улицы, едва завидев издали ее сухую, угловатую фигуру.

Так вот, в тот день мы, по привычке и в угоду себялюбию (посмотрите, какие мы заботливые!) наведя в больнице Альберта и подарив ему кулек каких-то дешевых конфет, постояли немножко на промозглом октябрьском ветру и, не найдя темы для разговора, скупно распрощались. Так всегда бывает: клянясь друг другу в вечной дружбе под занавес школы, мы свято верим, что сдержим клятву и пронесем нашу привязанность через всю жизнь. Действительно, как же друг без друга? И целый год мы, в самом деле, регулярно видимся, отчаянно лобызаясь и тиская друг друга при встрече; на второй год число совместных мероприятий и количество их участников уже значительно убавляется, а в год третий и вовсе никто не изъявляет желания заключить в объятия бывших однокашников. Уходят общие интересы, а за ними, в те же двери, и желание общаться.

Обо всем этом я лениво размышлял, глядя в окно на уже описанную мною городскую осень девяносто седьмого года и сожалея, что поддался подлой ностальгии и примчался за целую кучу верст домой ради нескольких дней нервотрепки. Досада на мать и безденежье вносила последние штрихи в картину депрессии стареющего года, и я отчаянно желал каких-нибудь резких изменений. Пожалуй, даже взрыв газа в кухне подошел бы...

В это время и раздался телефонный звонок, явившийся толчком для моего многолетнего самобичевания. С неохотой оторвав зад от нагретой им табуретки, я проследовал в прихожую, по дороге споткнувшись о кота и сочно обматерив животное, и снял трубку.

Взволнованный и что-то неразборчиво кричащий мне голос я узнал не сразу. Лишь прислушавшись и вникнув в суть подаваемых мне реплик, яс изумлением установил, что он принадлежит Альберту и звучит совсем как раньше, несколько лет назад, когда мой друг еще был здоров и полон интереса к жизни. Тем сильнее чувствовался контраст между этим, телефонным, Альбертом и тем аморфным существом, которое я имел несчастье лицезреть всего лишь пару часов назад в убогой и пропитанной вонью больничной палате. Я не мог поверить в столь разительные перемены, да и сама ситуация была мне неясна. Кто и зачем допустил его к телефону? Что могло его так активизировать? Какая реакция была бы сейчас уместна? Вопросов было много, и все их я задал себе одновременно, так что, кроме сумятицы в голове, ничего не получил. Между тем, телефонный Альберт быстро и четко дал мне все ответы:

– Послушай меня и не перебивай. У меня совсем немного времени. Я ушел из больницы. Сбежал. Почему – неважно. Важно то, что я видел его! Он опять здесь! Помоги мне разобраться! Ты можешь, потому что знаешь. Я жду тебя в моем дворе, за старым кленом, помнишь его? Все. Быстрее, или я пропал!

В трубке раздались короткие гудки. Я в изумлении продолжал смотреть на нее, словно оттуда вдруг могла появиться разгадка. Признаться, меня в большей степени удивила произошедшая со звонившим метаморфоза, чем таинственность его сообщения, ибо, зная о его болезни, я просто не мог относиться к этому серьезно. Мало ли что могло прийти ему в голову? Повороты и выкрутасы шизофрении непредсказуемы, и его отрешенное наплевательство вполне могло, по моим представлениям, вновь уступить место бредовым идеям преследования, следствием которых и стали побег из лечебницы и этот истеричный звонок. А коли так, то мой друг сейчас действительно в опасности, только исходит эта опасность не от вымышленного героя его бредовой сказки, а, в первую очередь, от него самого, ибо в таком состоянии он может натворить черт знает что, и не только с собой, но и с другими! И, пожалуй, единственное, чем я могу ему помочь, так это уведомить касательно его местонахождения специалистов, а именно скорую помощь, которая о нем квалифицированно позаботится и предупредит грозящие неприятности, а быть может, и трагедию.

Уверенный в том, что поступаю правильно, я набрал знакомый с детства двухзначный номер и в нескольких словах обрисовал поднявшей трубку хриплогой барышне суть проблемы. Барышня ею прониклась и пообещала послать на поимку моего несчастного приятеля машину, как только появится возможность. На мой возглас по поводу срочности мер она охотно пояснила, что не в силах ускорить процесс, но, дескать, минут через двадцать такая возможность ожидается, чем меня хоть и не удовлетворила, но утомонила. Я положил трубку и еще несколько секунд в растерянности смотрел на телефон, ибо тень сомнения в верности произведенного мною действия уже закралась в мою душу. Мне вдруг стало казаться, что звонил я не на станцию скорой помощи, а в НКВД и доложил там не о болезни друга, а каком-то его мелком проступке, который, тем не менее, способен привести его к эшафоту. Затем мне почему-то вспомнились Павлик Морозов и Иуда Искариот, и настроение мое окончательно испортилось.

Позже я узнал, что прибывшая через полчаса по указанному мною адресу карета скорой помощи ни под кленом, ни где бы то ни было еще во дворе Альберта не обнаружила. Беспомощно стоявшим и озирающимся вокруг фельдшеру и санитарам помог какой-то старик, сидевший на лавке у самой парадной и ничем не занятый, кроме подсчета ворон на клене да своих похмельных мук. Он со всей уверенностью показал, что заросший грязно-желтой бородой оборванец, все время сидевший под тенью растущего у самого забора клена, минут пять назад вдруг вскочил, засуетился и, словно предчувствуя скорое прибытие людей в белых халатах, скрылся в парадной, причем по продолжительности топота его ног, доносившегося с лестницы, старик может заключить, что поднялся он на самый верх. Открыл ли оборванцу кто-то дверь, он не слышал.

Перестав мучить похмельного свидетеля, спасатели, подобрав полы халатов, ринулись вверх по лестнице, нимало не сомневаясь, что обнаружат искомого забившимся в какой-нибудь угол и трясущимся от страха перед карой за свое поведение. Чтобы заключить, что эта кара неминуема, достаточно было взглянуть в просветленные лица санитаров, чувствовавших себя на высоте положения и крайне довольных своей должностью.

Однако же ни на лестнице, ни на чердаке больной обнаружен не был, а вышедшая на звонок мать Альберта лишь недоуменно пожала плечами на вопрос, не появлялся ли сын, и предложила осмотреть квартиру во избежание недоразумений, что и было сделано, но безрезультатно. Альберт как в воду канул. Высказали предположение, что он спустился с чердака по одной из водосточных труб, либо же нашел иную лазейку. Но тот факт, что больной пустился в дальнейшее бегство, сомнений не вызывал. Сердобольные медики заверили женщину, что сын ее обязательно будет найден, намекая на поощрение за запланированные усердия, но та лишь еще раз безучастно пожала плечами и закрыла дверь, что позволило ей не услышать произносимых визитерами замечаний в ее адрес, порицающих возможную моральную неустойчивость ее матери.

Ну, а Альберта ни в тот, ни в последующие дни той мерзкой осени так и не нашли, несмотря на разосланные ориентировки и воззвания к бдительности граждан. Гадать о его местонахождении было бессмысленно, как и надеяться на то, что он когда-нибудь объявится. Но он объявился.

В апреле следующего года, сразу после схода льда на реке в близлежащем поселке, мальчишки, едва забросив в мутную холодную воду свои первые весенние удочки, заметили прибитую к берегу бесформенную массу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась немислимо раздутым и полуразложившимся человеческим трупом, на остатках одежды которого весело поблескивали прилипшие к ней осколки льда, еще не до конца растопленного весенним солнцем. Криками призвав на помощь старших, юные рыболовы несколько дней ходили в героях, заново и с новыми подробностями пересказывая историю своей находки каждому встречному и упиваясь повышенным к себе вниманием.

Разумеется, с уверенностью опознать в трупе Альберта по понятным причинам не представлялось возможным, но мать его сделала это без труда, руководствуясь какими-то ей одной ведомыми приметам. Якобы, остатки трусов и майки она опознала, да ногти у трупа точь-в-точь Альбертовы. Замученные несурaziцей следователи не стали придирааться и положились на слово ближайшей родственницы усопшего. Официальной причиной смерти объявили аспирацию, сиречь утопление, и погребение тела было разрешено. Гроб, натурально, не открывали.

Я хорошо помню эти незамысловатые похороны, которые почтили своим присутствием лишь родные покойника, несколько бывших одноклассников да пара-тройка бездомных собак, вяло бредущих за гробом не то в надежде на угощение, не то от извечной собачьей скуки. Ну, и по дороге на кладбище процессия пополнилась, само собой, на загляденье угодливыми и расторопными любителями горячительного, издалика учуявшими дух замаячившего в перспективе поминального спирта.

Мне же было не до поминок: я чувствовал себя как никогда отвратительно. Не стоит сотрясать воздух, оправдываясь и поясняя, насколько я раскаивался в своей недалекости и как, подобно истовому монаху, хлестал себя по спине плетью упреков и проклятий, понимая, что этим не верну себе покоя. Быть может, я ничем и не помог бы бедному Альберту, быть может даже, что смерть была для моего друга более желанной и целесообразной, нежели полудикое существование длиною в жизнь в клетке психиатрической лечебницы, без надежды обрести когда-либо человеческий облик и вернуться к нормальному существованию. Все возможно. Но меня это никак не касалось, ибо я, предав друга, все равно оставался мразью. В моей голове все еще звучал его просящий помощи голос, и со временем чувство вины лишь нарастало, отрав-

ляя мне существование. И вот это послание... Послание утонувшего семь лет назад несчастного психбольного, оскорбленного мною в самом главном – его вере в людей и дружбу.

Не все эти измышления и подробности я привел в своем рассказе профессору. В конце концов, он хотел знать суть произошедшего, а не нюансы моих переживаний. К тому же я, вполне возможно, несколько перегнул палку при самобичевании, и в реальности вина моя не столь уж и велика, как я себе возомнил в порыве христианского раскаяния.

Райхель слушал, не перебивая, и даже в моменты, когда я на несколько секунд или более прерывал свое повествование, дабы отыскать в кладовых памяти подходящее слово или выражение, не проронил ни звука. Не знаю, был ли ему интересен мой рассказ и услышал ли он в нем то, что хотел услышать, – никаких комментариев мой собеседник не изрек и вообще было неясно, считает ли он все это имеющим отношение к делу, с которым я пришел к нему. Его молчаливая фигура казалась мне теперь еще более величественной и преисполненной таинственности, чем в начале моего визита, и я понимал с еще большей отчетливостью, сколько опыта и непостижимых для меня знаний кроется в этой старческой голове, покрытой шапкой безупречно уложенных седых волос.

Наконец, после длительного молчания, он сказал:

– Что ж, мой друг, вариантов здесь несколько и, пока мы не определимся, который из них нам наиболее близок, у нас связаны руки. Во-первых, может статься, что друг Ваш вовсе и не погиб, ведь тело было, как ни крути, до неузнаваемости разложившимся, что бы там ни утверждала матушка пропавшего. Во-вторых, если труп действительно принадлежал Вашему приятелю, то вовсе не факт, что он погиб именно в день исчезновения, не так ли? В третьих... Ну, да что гадать! У Вас есть письмо, и в почерке писавшего Вы узнали его руку. Это единственный имеющийся факт, хотя любой из нас волен ошибаться. Почерк, согласитесь, может оказаться просто мастерски подделанным. Но тогда возникает вопрос: с какой целью? В общем, молодой человек, я готов помочь Вам по мере сил, но исходные данные для моей работы постарайтесь уж добыть сами, тут я Вам не помощник. Номер моего телефона Вы знаете, так что... Да, должен Вам сказать, что с альтруизмом мои действия, если таковые последуют, не будут иметь ничего общего: Ваш случай заинтересовал меня исключительно как ученого, и я брошу им заниматься в тот же миг, когда он утратит для меня свой интерес. Мне жаль, если своим ответом я Вас не удовлетворил.

– Напротив, профессор. Читая Ваши труды, нетрудно догадаться, что Вы человек чрезвычайно настойчивый и не отступитесь от интересующего Вас феномена до его полной разгадки, а большего мне и не нужно.

Георг Райхель не клюнул на лесть.

– Не читайте много научных книг, Галактион. Это не придает мудрости, но засоряет ретикулярную формацию, превращая ее в помойку. Берите лишь то, что Вам действительно нужно.

Профессор поднялся, давая понять, что завершил разговор. Поднялся и я, испросив еще один стакан воды перед отъездом. Сказать по правде, я был голоден и ожидал приглашения разделить с моим собеседником ужин, но такового не последовало. Райхель жил в соответствии с собственными представлениями и менять их ради меня не собирался.

Глава 5

На кладбище

Туманным августовским вечером я, лишь несколько часов назад сошедший с доставившего меня из аэропорта автобуса, подошел к едва различимой в белесой дымке ограде кладбища, занимающего пару десятков гектаров земли на окраине моего родного города. Несмотря на усталость, вызванную долгим перелетом, весомой разницей во времени и беспрецедентным хамством облаченных в синюю форму сотрудниц аэропорта, от которого успел несколько отвыкнуть, я решил не откладывать исполнение миссии, ради которой и проделал весь этот путь, в долгий ящик, и постараться побыстрее ее окончить. Мне повезло, и дождь, со стопроцентной гарантией предрекаемый местными синоптиками, так в полную силу и не хлынул, а редкие капли, то и дело падающие с серого и все более чернеющего к вечеру неба, особых неприятностей не доставляли. Ветерок, гоняющий мусор по пустырю перед кладбищем, был настолько слаб, что не мог прогнать накрывшее всю округу облако, а посему у меня появились опасения, что уже через пару часов различить что-либо в этой мути станет невозможным.

Надо заметить, что в душе моей царил полный сумбур. Я совершенно не представлял себе, что следует делать и как именно я должен «прийти» и что «узнать». Также я не мог бы объяснить, почему я начал это не сулящее успеха расследование именно с кладбища, а не, скажем, с квартиры, где когда-то жил мой бедный друг. Наверное, потому, что мысль о встрече с его угрюмой матерью вызвала во мне дрожь, а чувствовать себя посвященным в какую-то тайну из детских «потусторонних» страшилок было куда приятнее.

Поозиравшись, я быстро нашел ближайший пролом в бетонной кладбищенской стене и, переступив через преграждающий мне путь моток обугленного корда, оставшийся от сожженной с целью оттаивания замерзшей земли автомобильной шины, оказался внутри ограды. В этой части кладбища могилы были разбросаны как попало, безо всякого намека на порядок, и отыскать путь среди притиснутых друг к другу ржавых оградок и гор мусора, большей частью состоявших из старых проволочных венков с пожухлыми клеенчатыми цветами и битых бутылок, было не так просто. Впрочем, я, немалую часть моего незатейливого детства проведший здесь за какими-то дикими, пропитанными романтикой и дуростью, играми, сориентировался достаточно быстро, отыскав приемлемую дорогу. Наплевав на сохранность моей дорожной одежды, которую я, предвидя описанные сложности, не стал менять, я уже через несколько минут выбрался на одну из боковых аллей и, отряхнувшись, огляделся в поисках знакомых памятников, чьих обладателей, пользуясь случаем, желал навестить в их последнем пристанище.

Надо сказать, навещать мне было кого. Помимо редких родственников, чьи могилы были, вопреки лелеемым здесь традициям, рассеяны по всему кладбищу, тут покоилась целая плеяда моих однокашников – товарищей по учебе и играм. Волею судьбы наше поколение было словно выкошено литовкой, зажатой в не ведающих жалости руках дамы в белом саване, помахавшей, словно Илья Муромец, сим орудием направо и налево в рядах моих друзей и знакомых, создавая все новые «улицы и переулочки» на просторах этой старой обители мертвых. Несколько десятков погребений, на которых мне пришлось присутствовать, слились в моей памяти в одну сплошную симфонию воя, криков «Не пуцу!» над стоящими на табуретах у развернутых могил гробами и заунывных аккордов знаменитого шопеновского марша. Трудно было вспомнить месторасположение каждой из этих могил, но этого и не требовалось: достаточно было просто двигаться вдоль рядов, беглым взглядом осматривая надписи на могильных камнях, и вот они – один за одним и одна за одной...

Высокая, в человеческий рост, плита черного мрамора за кованой вычурной оградкой. Мастерски выбитый портрет и надпись: Дорохов Валера, 3.4.1977 – 19.7.1992. Смотрю

в насмешливо прищуренные глаза, рассматривающие меня из-под вихрастой шапки светлых волос... Валеру убило током при попытке устроить голубятню на крыше старого сарая. Поскользнувшись и падая со стремянки, он машинально схватился рукой за провисающий оголенный провод, кем-то когда-то почему-то не заизолированный. Спи, Валера, спокойно. Я к тебе буду ходить, ты ко мне не ходи...

Иду дальше. Вот заброшенная могила – совсем завалившийся полуистлевший крест – с разбросанными вокруг позвонками, затем куча бесхозного мусора и, наконец, два одинаковых незатейливых памятника из мраморной крошки с небольшой, должно быть, посаженной недавно, рябинкой между ними. Артур Эртль, 10.10.1978 – 10.10.1996. Все просто. На подаренном отцом к восемнадцатилетию мотоцикле (марку я не помню, да это и не важно) мой одноклассник Артур, предварительно пригубив за свое здоровье, в тот же день на бешеной скорости выскочил навстречу фуре, водитель которой, находясь в шоке, и встретил прибывших сотрудников автоинспекции, сидя на земле подле ставшего бесформенной кровавой массой погибшего парнишки и держа за чем-то в руках его отлетевшие ботинки. Трагедия продолжилась на третий день, когда безмерно винящий себя в смерти сына отец в вечер после похорон застрелился прямо на его могиле. Вот здесь. На его погребении я не был, но говорят, что явившийся орудием самопокаранья обрез похоронили вместе с ним. Ладно, ребята – я к вам буду ходить, вы ко мне не ходите...

А вот и сварной железный памятник Павлу Ракитскому, жившему когда-то на соседней улице и мнящему себя грозой окрестностей. На этих похоронах был весь город, только что билеты, как в цирк, продавать не стали, но аплодисменты в толпе слышались. Ну, да он всегда мечтал, чтобы ему аплодировали. Выйдя весной 1998-го из тюрьмы, где отбывал семилетний срок за изнасилование соседской девчонки, Ракитский, упившись до звериного состояния, повторил те же действия по отношению к собственной матери, безобидной пожилой женщине, по неосмотрительности открывшей ему дверь в ту ночь. По свершении сего деяния он попытался задушить мать, дабы запутать правосудие, чему помешал его брат, по счастью проснувшийся от пьянки в смежной комнате и казнивший Павла подвернувшимся под руку топором. Собранию горожан удалось отбить этого брата у суда, убедив заседателей в благостности свершенного им деяния. Вот и вся история. К тебе, Паша, я ходить не буду.

Татьяна Владасовна Петрикайте, 20.9.1972 – 2.3.1994 – надпись на сером гранитном камне, одном из шести, находящихся внутри выкрашенной в зеленый цвет ограды с едва различимой в ней дверцей. Надписи на остальных камнях, установленных здесь в разное время, вещают, что под ними покоятся разные «Петрикас» и «Петрикене», должно быть, различноудаленные родственники Татьяны Владасовны, чьи фамилии склонялись в полном соответствии с правилами литовского языка. Покойница же когда-то преподавала сольфеджио в музыкальной школе, куда я одно время прилежно похаживал, и ее звонкий голос, посылающий меня вон из класса за неуместный приступ смеха, до сих пор звучит у меня в ушах, наводя на грустные размышления. Подробностей ее смерти я не знаю, но поговаривали, что, дескать, случилась у нее какая-то любовь, не то к заезжему гастролеру, не то к директору той самой школы. Пассия ее любовь эту поначалу с восторгом разделял, но ровно до той поры, пока не замаячила впереди недвусмысленная перспектива стать в очередной раз отцом, энтузиазма ему не добавившая, но подвигнувшая его на разрыв всякого рода сношений с молодой любвеобильной литовкой. Это, в свою очередь, навело последнюю на мысль наглотаться с целью небольшого шантажа спазмолитиков, которые, вопреки ее расчету, привели ее не в объятия любимого, но в гроб. Насколько я помню, гроб этот был действительно богатым, а поп, за солидную мзду презревший церковные каноны о запрете отпевания самоубийц – пьяным и лоснящимся от жира. Я буду ходить к тебе, Танечка. Ты уж, милая, ко мне не ходи...

Из тумана вынырнула толстенная черная цепь, провисающая между двумя бетонными столбами в полметра высоты, от которых тянулись к следующим столбам такие же цепи. Это

была видимая мне часть оригинального забора, окружавшего так называемое «японское кладбище». Территория примерно в гектар была нашпигована каменными плитами размером пятьдесят на семьдесят сантиметров, под которыми якобы покоятся останки бывших японских военнопленных, по различным причинам не дождавшихся возвращения на свою островную родину. Мы-то с вами знаем, что в реальности прах погибших от голода и издевательств безвестных людей рассеян по всей округе, и большей частью находится на дне тех оросительных каналов, которые они сами вручную выкопали, вероятно, догадываясь, что роют себе могилу. Но политика – дело опасное, история же «японского кладбища» такова: Где-то в восьмидесятых годах представительство какого-то там японского министерства, по всей видимости, отвечающего за культурное наследие, иностранные дела или что-то в этом роде, вступило в контакт с соответствующим министерством страны Советов, а именно с просьбой позволить делегации японцев осмотреть и возложить цветы к могилам встретивших смерть на чужбине соотечественников. Разрешение было получено и японцы назначили свой визит через... две недели. Оторопев от наглости не терпящих промедления жителей восточного архипелага, местные власти по приказу сверху сделали свой ход: уже на второй день на городское кладбище, круша все попавшее под гусеницы, вошли два бульдозера, за пару часов расчистившие необходимую площадь от мешающих укреплению межнациональных отношений могил, как старых, так и недавних, а пришедшие следом безымянные рабочие установили памятные плиты японским военнопленным и закрыли промежутки между ними специально привезенным дерном, дабы скрыть истинный возраст «захоронений». Все. Японцы были в восторге. Родственники же тех, чьи могилы были уничтожены, по ласковой просьбе властей добровольно «заткнули пасть». После этого прошло добрых двадцать лет, но этот памятник человеческой глупости и беспринципности стоит и по сей день, все больше зарастая сорняками и смеша народ.

Миновав бутафорское кладбище, я вышел на более широкую аллею, поведшую меня вдоль установленных вертикально громадных мраморных плит с нанесенными на них резцом целыми пейзажами, отражающими сцены из цыганской жизни. В земле под этими мемориалами – прах цыган-торговцев наркотиками, в начале девяностых деливших сферы влияния с местными отморозками, да, видимо, не очень успешно. Сплошь молодые лица, когда-то куда-то так и не доехавшие на своих, изображенных тут же и модных по тем временам, автомобилях. По-моему, эта аллея – кратчайший путь к альбертовой могиле.

Так... Эту могилу совсем забросал желтыми листьями облетающий раньше всех и зачем-то посаженный в паре метров от нее тополь. А может быть – сам по себе выросший, с тополями это бывает. Отгребаю листья, чуть сдвигаю в сторону заслоняющий буквы старый ржавый веночек... Иван Гемский, 12.12.1978 – 30.12.2002, «Ты всегда жив в моем сердце. Мама». Да, Иван, недолго ты пожил... Гемского я помню спокойным, сдержанным парнишкой, пользующимся заслуженным уважением в нашем классе за целеустремленность и тягу к справедливости. Его девизом, помнится, было «Проблем нет, есть только решения!» А дело было так: Вернувшись по окончании университета в родной город, Иван, презрев беззлые насмешки друзей, вновь поселился у своей овдовевшей много лет назад и перебивающейся подсобными работами матери, в похвальном желании отдать ей свой сыновний долг за труды, связанные с его обучением и «поднятием на ноги». Ему везло, и с работой также проблем не возникло (только решения, помните?). Молодой энергичный инженер не мог не привлечь внимания представительниц нежного пола и, покуражившись для порядка, через пару-тройку месяцев и сам поддавшись пылкому чувству к одной казенной красотке, что-то там перекладывающей с места на место в отделе кадров одного из третьесортных городских предприятий. Образумившись и решительно отвергнув прежних ухажеров, многие из которых, по отдельной информации, весьма с ней преуспели, девица мертвой хваткой вцепилась в нашего мачо, убедив его, в конце концов, в искренности своих эмоций. Ну, повстречавшись для порядка года полтора, пара решила таки оформить свои отношения, о чем подала заявление в соответствующую кон-

тору, после чего побывала в магазине для брачующихся и выложила солидную сумму заработанных женихом денег за ослепительно белое платье, рыжие кольца и прочую дребедень, необходимую для самоутверждения невесты. Причем, для этого Ивану пришлось, повинувшись капризу будущей жены, скрепя сердце перенести запланированную хирургическую операцию матери на срок, требуемый для сбора новой денежной суммы. Мать не обиделась: она чувствовала себя намного лучше и даже собралась на новогодние праздники навестить сестру, живущую в какой-то там таежной деревне, и провести у нее пару недель, предоставив таким образом молодым наслаждаться покоем и праздничной атмосферой совершенно уединенно, без назойливой возни и «шныряния туда-сюда старшего поколения», как изволила выразиться пару недель назад ее назревающая сноха. Таким образом, утром тридцатого декабря матушка покинула квартиру и город, а Гемский, проводив подругу на корпоративную вечеринку, вернулся домой, дабы приготовить возлюбленной не то ужин, не то еще какой сюрприз. Часов в десять вечера он, однако же, заволновался (не случилось ли чего?) и вновь выдвинулся в знакомом направлении в надежде если не забрать милую, то убедиться, что с ней все в порядке. С ней, и правда, все было отлично: она сидела на коленях лобызая его взасос какого-то лысого пузача и, казалось, не обращала внимания на шарящую в ее трусах руку еще одного участника трио, несколько более хлипкого телосложения, чем первый. Третий же мужчинка, с рыжими усами и разорванной до колена штаниной, снимал веселье на камеру, подбадривая актеров утробным хохотом. Обезумевший Иван кинулся к «труппе» и, рывком отбросив в сторону хлюпика, зачем-то попытался оторвать верхнейшую из женщин от потного пьяного толстяка, крича какие-то несуразности. Последнему сие, натурально, пришлось не по душе, поэтому он, свирепея, поднялся и, ухватив ревнивца за волосы своей огромной ручищей, два раза ударил того лицом о стену. Последнее, что услышал Иван, было премерзкое хихикание накачанной сивушным пойлом шлюхи, которую он собирался назвать своей женой.

Очнулся он на улице, лежа у крыльца все того же здания с адской болью в голове и сломанной переносице. С трудом поднявшись, Гемский побрел в сторону дома. Какие мысли роились в его голове в тот момент, никто не знает, но то, что радужными они не были, не подлежит сомнению. Придя домой и заперев дверь, Иван достал с антресоли старое охотничье ружье, оставшееся от отца, вставил в ствол патрон с картечью и, приняв удобную позу на диване, выстрелил себе в рот, нажав на спусковой крючок большим пальцем правой ноги.

Лишь на двенадцатый день соседи, почувствовав проникающий из-за не плотно прилегающей к косяку двери характерный тошнотворный запах, догадались вызвать сотрудников правопорядка, которые сломали дверь и, рыгая, первыми осмотрели труп. Вот и вся история. А диван тот пришлось впоследствии сжечь прямо во дворе, очень уж резким был исходящий от него дух смерти. Проблем для застрелившегося, как и всегда, не было, а решение он выбрал на собственный вкус. Я буду приходить к тебе, Иван. Ты уж, сам понимаешь, лучше не ходи ко мне...

О! Лена Рюмина! Совсем свежая могила. Дата смерти – тринадцатое июля 2004-го. Месяц назад. Я и не знал, что она умерла. Не дошла информация. Внизу, под именем, чуть косые буквы «Погибла трагически». Ну, в этом никто и не сомневался. Надо будет справиться. Адью, Лена!

Ну вот, еще пара повесившихся, несколько разбившихся, двое убиенных... Последний поворот... Скромный железный памятник с выполненной простой, чуть потекшей в отдельных местах, эмалью надписью: Калинин Альберт, 25.01.1979 – 18.10.1997. И все. Даже «любить, помнить и скорбеть», по видимому, никто не собирался.

Видимость с каждой минутой становилась все хуже и хуже, по мере сгущения сумерек – предвестников темной августовской ночи. Туман, впрочем, несколько поредел, то ли развеянный едва слышно шелестящим в кладбищенской траве ветерком, то ли сам по себе, устыдившись своей назойливости. Тем не менее, глаза приходилось напрягать все сильнее и было ясно,

что уже через пару минут придется пробираться ощупью через нескончаемую гряду гнутых оградок да мусорных куч, молчаливо свидетельствующих об отношении аборигенов к своим предкам. Чуда в виде месяца, который осветил бы окрестности и избавил меня от слепого кружения по территории мертвых, ожидать не приходилось, поскольку плотные облака, пожалевшие и оставившие меня почти сухим, уходить и уступать место ночному светиле все же не собирались, обещая, напротив, долговременную оккупацию небосвода.

Ну, вот, я достиг цели моего путешествия и стою у могилы моего друга, покинувшего этот мир так рано и бесславно. Смерть его многих оставила равнодушными, а кое-кому даже принесла облегчение. Но здесь, в этом тихом, как принято думать, пристанище, все равны: как те, чьи похороны сопровождалась криками отчаяния и крупными заголовками на первых полосах местных газет, так и те, чье небогатое погребение прошло незамеченным. Кого-то поминали громкими речами в шикарных ресторанах, иных же – стаканом суррогата на грязной кухне коммунальной квартиры. Но земля, давящая на крышку гроба, была одинаковой, и неизвестно, в торгах или первых больше на скамье подсудимых небесной юрисдикции.

Я смотрел на небрежно намалеванные буквы, складывающиеся в имя лежащего в двух метрах под ними человека и недоумевал, размышляя о собственной наивности. Что привело меня сюда? Что надеялся я здесь найти? Неужели я и в самом деле ожидал увидеть сидящего на лавочке Альберта, готового рассказать мне очередную из его страшных историй? Полученное мною письмо казалось мне теперь чистейшей издевкой или даже приманкой, чтобы затащить меня сюда и расправиться. Кому и зачем это могло понадобиться, я не мог предположить, но начал чувствовать, как, зародившись в комке ноющей боли в животе, по всему моему телу мелкими волнами стал разливаться страх. Тот страх, который охватывает большинство людей, вздумавших в одиночку совершить вылазку на ночное кладбище, не будучи достаточно осведомленными о том, что их может тут ожидать, и уж, в особенности, пришедших сюда в поисках контакта с мертвецом и истины, как я. Мое сознание начало проделывать со мной разные фокусы, а мысли, сумбурные и прыгающие с одного на другое, были настолько уродливого содержания, что назвать их бредом было бы преуменьшением. Кто-то свыше немилосердно подбрасывал мне к размышлению все новые ужасные догадки, и я, проклиная тот миг, когда решил отправиться сюда, готов был уже завывать от съедающей меня жути.

Я скорее почувствовал, чем увидел, чье-то присутствие. Некая субстанция, угадываемая мною и доселе безмолвная, обреталась за стоящим чуть поодаль скрюченным временем язом, до поры не показываясь мне, но и не скрываясь особо, словно наслаждаясь последними мгновениями охоты. Охоты на меня. Я явственно чувствовал, как ЭТО наблюдает за мной, и словно окаменел в безмолвном крике отчаяния. Я не мог пошевелиться и дыхание мое парализовало; с меня даже пот не тек, словно тело мое отказалось поддерживать свои физиологические функции, осознав их ненужность. Я не мог и надеяться сопротивляться, ибо откуда-то знал, что ЭТО, в отличие от меня, было здесь дома. Происходящее со мной являлось, несомненно, платой за мое извечное любопытство и нездоровый интерес к миру духов, к той стороне бытия, познать которую дано лишь после того, как равнодушная сводня-смерть повенчает тебя с вечностью. Своими прогулками по кладбищам и курганам, посещениями моргов и детскими, неуклюжими попытками колдовства я выпросил-таки «снихождения» к себе, и вот она здесь, наблюдает из-за язя за моей агонией...

Все еще не в силах отвести взгляда от масляных букв на железном памятнике, я боковым зрением увидел, как темный, но заметный даже в сумраке напавшей на мир ночи силуэт выдвинулся-таки из своего укрытия и замер, не оставляя, тем не менее, ни капли сомнений касательно цели своего появления.

Последним усилием воли преодолев онемение моего речевого аппарата, я, скорее от отчаяния, чем осмысленно, заговорил, и это, клянусь вам, был самый лаконичный торг, который я когда-либо вел, но предметом этого торга была сама жизнь:

«Уже?»

«Да», – голос, зазвучавший, казалось, прямо в моей голове, был низкого регистра и раздавался, как из бочки. В иной ситуации я подумал бы, что он принадлежит престарелой прокурорной шлюхе, до сих пор уверенной в неотразимости ее альта.

«Позже»

«Нет»

«Позже!»

«Нет»

«Проклятье! Немного позже! Я хочу все узнать»

«Хорошо. Но недолго»

«Будь по-твоему»

Когда я произносил последние слова, сверкнула молния, предшествуя рычащему раскату грома, и на долю секунды осветила стоящую у старика-ясеня фигуру, напоминающую вырезанный из черной бумаги силуэт монаха, закутанного в сутану и неподвижного. Ни лица, ни каких-либо других частей тела различить было невозможно. Когда же через несколько мгновений следующая вспышка озарила старое дерево, возле него никого не было. Видение исчезло, преподав мне урок.

Тут меня, что называется, отпустило. Скованность сняло как рукой и я, рыдая и сотрясаясь всем телом, не разбирая дороги бросился прочь со страшного места. Одержимый диким страхом, я, словно раненное животное, бежал куда-то, будучи не в состоянии задуматься над направлением моего спурта. Я наткнулся на острые углы и прутья, падал, но тут же вставал и, не чувствуя боли, продолжал бегство.

Сам того не заметив, я оказался в самой старой и наиболее удаленной от центральных ворот части кладбища. Здесь не хоронили вот уже более пятидесяти лет, кругом лежали полуогнившие остатки крестов и кости, а редкие гранитные плиты настолько вросли в землю и позеленели, что пришлось бы приложить массу усилий, чтобы разобрать начертанные на них знаки. Кроме единичных любопытствующих эту часть кладбища никто не посещал и даже маломальское подобие порядка здесь не поддерживал, что придавало этому куску усеянной трупами земли и вовсе угрюмый вид, подчеркивая безысходность человеческого существования.

Поняв, что бежал совсем не в ту сторону я, руководствуясь первой с начала моего бегства мелькнувшей у меня мыслью, решил срезать угол и, отыскав какую-нибудь дыру или, на худой конец, перебравшись через забор, попасть, наконец, к людям.

Я рванулся было направо, огибая покосившийся каменный крест позапрошлого века, но удача окончательно отвернулась от меня в этот день и, запутавшись в чем-то обеими ногами сразу, я, словно мешок с мукой, рухнул на землю, ударившись головой о что-то твердое. Однако боль, едва вспыхнув, тут же погасла вместе с моим сознанием.

Когда я очнулся, то не сразу понял, где нахожусь. Какая-то колючая трава премерзко щекотала мне щеки, а предутренний холод, забравшись под рубашку, вытягивал, казалось, последние крохи жизни из моего тела. Лежал я в какой-то немыслимой позе, и оттого правая рука моя заснула, да так, что пришлось поддерживать ее левой, когда я, морщась от тупой боли в голове, все же приподнялся и сел, постепенно возвращаясь в реальность. Осмотревшись и оценив обстановку я, подбадриваемый холодом и подгоняемый болезненными ощущениями, смог, наконец, вспомнить все подробности моего «приключения», приведшего меня в такое, мягко говоря, неприглядное состояние, включая ночную фантазию или даже галлюцинацию с появлением темной фигуры за ясенем, а именно якобы приходившей за мной Смерти. Тут следует обмолвиться, что я, по натуре своей, не был человеком пугливым или как-то по особенному впечатлительным, оставляя эти качества женскому полу и истерикам. Напротив, свой образ мышления я всегда определял как прагматический и для того, чтобы произвести на меня сколько-нибудь сильное впечатление, требовалось нечто большее, чем ночное кладбище да

туман. Даже та старая история с альбертовой квартирой не смогла, по большому счету, выбить меня из колеи, подвигнув мой рассудок, скорее, к глубокомысленным размышлениям, нежели к панике. Но, в свете всего произошедшего со мной в последнее время и принимая во внимание усталость после длительного перелета, нет ничего удивительного в том, что и самые крепкие нервы могут дать сбой, да еще этот удар головой...

Я уже не мог отделить события, имевшие место в реальности от композиций, заживавшихся в моем мозгу в то время, когда я лежал без сознания между наполовину заросшей мхом могильной плитой и злосчастным каменным крестом – виновником произошедшей со мной коллизии. То, что на нем написано, я знал наизусть: «Под симъ камнемъ покоится прах младенца Ксении, дочери ***ского первой гильдии купца». и так далее...

Между тем, кое-что вокруг меня изменилось, а именно – взошла луна, не оправдав, к моей вящей радости, мрачные прогнозы синоптиков, к которым я и сам ранее присоединялся. Чуть усеченная с одного края и уже клонящаяся к горизонту, завершая очередной обход своих владений, она ровным желто-зеленым светом озаряла спокойное величие города мертвых, посередине которого я и сидел на сырой от прошедших здесь за последние дни дождей земле, несколько отрешенно взирая на окружающую меня декорацию к фильму ужасов. Казалось, сейчас одна из плит бесшумно отъедет в сторону и из ямы покажется полусгнившая рука с длинными желтыми ногтями, как предвестник начинающегося кошмара. Я улыбнулся этой мысли и заставил себя подняться с сырой земли, ибо проведенная на ней ночь и без того могла сказаться на моем здоровье, по крайней мере, в будущем.

Отряхнувшись и заправив в штаны выбившуюся рубаху, я вдруг обратил внимание на плиту, подле которой лежал. Ничего необычного или примечательного в ней не было, но я, солидную часть своего детства посвятивший поискам острых ощущений и на пару с Альбертом изучивший почти все старые могилы этого кладбища, как казавшиеся нам хранителями каких-то страшных тайн, этой плиты почему-то не помнил. Быть может, она была скрыта землей или завалена мусором, и какой-то любознательный историк вновь явил ее свету Божьему, а может, я не заметил ее по детской невнимательности, что, впрочем, маловероятно. Как бы там ни было, плита существовала и, поскольку я уже здесь, то не уделить две-три минуты ее беглому изучению было бы непростительным проступком. К тому же, никаких планов у меня больше не было, и я, пристыженный и наглотававшийся галлюцинаций, собирался отправиться восвояси и пошляться по знакомым с пеленок улицам моего грязного города, а заодно и навестить оставшихся здесь друзей моего детства и за портвейном скоротать оставшиеся до отлета дни.

Прочитанное мною на замшелой поверхности плиты бросило меня в холодный пот и возвратило мне все мои страхи. Выбитые относительно недавно и потому еще достаточно четкие буквы сообщали мне, что под этой небольшой каменной плитой покоятся останки Калининского Альберта Альбертовича, умершего двадцать седьмого ноября 1930-го года. Даты рождения на плите выгравировано не было. Не менее примечательной была и подпись: «От друга Галактиона и меня». Я задыхал чаще и несколько раз с силой зажмурился, стремясь прогнать очередное видение. Но, стоило мне открыть глаза, как я убеждался, что надпись реальна. Быть может, я все еще без сознания или брежу? Но все известные мне методы проверки этого, вроде щипков или ударов себя по роже ничего, кроме боли, не принесли. Должно быть, я все же сошел с ума, подобно бедному Альберту, и дорога моя лежит теперь в дом скорби, где я буду зарастать щетиной и опускаться или же буйствовать и бросаться на решетки, которыми меня, несомненно, изолируют от людей. Представив себе свою физиономию, в неистовстве грызущую прутья ограждения, я грустно усмехнулся и побрел к ближайшему выходу с кладбища, решив предоставить дальнейшее воле случая и разобраться со всем позже. В конце концов, все это могло оказаться простым совпадением, ничего общего с шизофренией не имеющим.

В по-прежнему неприветливом и скупом на эмоции родительском доме я, разместившись в старом потрепанном кресле в углу моей бывшей комнаты и прихлебывая какую-то наспех сотворенную бурду из коньяка и кофейного напитка, попытался упорядочить свои мысли, ошалевшим табуном скачущие по прериям моего рассудка. Мне необходимо было прийти к какой-то мало-мальски стройной концепции моих дальнейших действий, если таковые последуют, ибо та мешанина, которая мерзкой жижей залила, казалось, все мои извилины, откровенно никуда не годилась. Посему я постарался шаг за шагом восстановить все произошедшее со мной прошлым вечером и ночью и, помимо того, как-то увязать это с событиями давно минувшими, а именно, с альбертовой гибелью и той странной историей, случившейся со мною в январе 1989-го. Мне почему-то хотелось, чтобы все эти вещи оказались звеньями одной цепи и сторонами одной загадки, которую я непременно желал распутать.

Но, как ни старался я склеить воедино осколки неведомого мне сосуда, у меня ничего не вышло. Даже отбросив явление темной субстанции и глас смерти, якобы давшей мне отсрочку, как порождение собственной перекошенной психики, я не сумел подобрать ключа к остальным компонентам ребуса. Быть может, мне не хватало для этого проникательности или способности последовательно мыслить, но скорее – просто информации. Слишком много неясностей таила в себе вся эта история, и мое посещение кладбища, которого требовал в письме мертвый Альберт (если я, конечно, верно понял смысл послания), не принесло ничего, кроме новых загадок да нервного расстройства, следствием которого и стали, безусловно, мои мимолетные обманы восприятия в виде зрительных и слуховых галлюцинаций. Хвала Создателю, что они так же внезапно кончились, как и начались.

Все дальнейшие раздумья, с какой бы «точки опоры» я их не предпринимал, неотвратимо и безжалостно приводили меня к одной и той же мысли, столь ненавидимой мною, но, тем не менее, казавшейся наиболее конструктивной в сложившейся ситуации: я должен попытаться снова войти в ту квартиру и, если мне повезет и мистические «ворота» вновь для меня откроются, быть более разумным, нежели четырнадцать лет назад, когда детский страх ставил палки в колеса моей любознательности. Я не мог утверждать, что тот же страх или даже паника вновь не овладеют мной в схожей ситуации, но это было достаточно слабым аргументом для отказа от визита в их обитель, ибо сейчас на карту было поставлено несравнимо большее – мое спокойствие и самоуважение, вновь обрести которые я мог лишь разобравшись в этом сумбуре нереального. Может статься, конечно, что я переоценил свои силы и дело, в которое я собирался сунуться, окажется просто не по зубам человеческому отпрыску, но тогда я, по крайней мере, буду знать, что сделал все возможное для того, чтобы проникнуть в тайну, и не стану так мучиться. Или же погибну, что я склонен был рассматривать как наиболее вероятный вариант развития ситуации.

Тем не менее, я понимал, что действовать наобум было бы непростительной ошибкой. Я не только понятия не имел, что стоит за всем этим, но и абсолютно не представлял себе своих действий в случае, если все «сработает» и я вновь окажусь в неведомых мне тридцатых. К тому же, профессор наверняка ждет от меня новостей, и не поставить его в известность относительно моих планов было бы не только глупо, но и невежливо.

На этот раз дотошная экономка не стала мучить меня расспросами, а сразу соединила со своим сварливым работодателем. Когда тот ответил, мне показалось, что в голосе его промелькнула нотка интереса, что приободрило меня и добавило живости в мой монолог, который он выслушал не перебивая. Задав пару уточняющих вопросов, Райхель одобрил мое намерение, хотя и попросил быть предельно осторожным. Меня несколько удивило это его беспокойство, так как я искренне не понимал, что же такого опасного может меня ожидать там, куда я направляюсь. В конце концов, если что-то пойдет не так, я всегда могу вернуться назад, стоит

мне лишь перешагнуть порог квартиры в обратную сторону. Эту мысль я и высказал моему телефонному собеседнику, чем возбудил его недовольство.

– Все это не так легко, как может показаться, бесшабашный Вы юнец! Достаточно малейшей неточности, самого пустячного прокола, и все полетит к чертям. Нужно держать в голове каждый предстоящий шаг, планировать каждый вздох и четко следовать плану, быть, если хотите, гением перевоплощения! Представьте себе, что Вы – разведчик, и за провал Вам будут выдирать веки плоскогубцами в коммунистических застенках и каблуком отдавливаться мужское достоинство, приводя его в вид весьма недостойный, простите за каламбур. Кстати, это не абстракция, а вполне реальная перспектива, а посему заклинаю Вас быть хитрее и изворотливее Ваших соперников.

– Вы не усугубляете, профессор? Ведь, как известно, все гениальное просто...

– Кому известно? Мне не известно. Не повторяйте, молодой человек, чужих заезженных фраз, тем паче, таких откровенно глупых. Не кажутся ли Вам простыми, скажем, произведения Достоевского или работы Пикассо? Опусы Баха, в конце концов?! Впрочем, я готов изменить свое мнение, если Вы сейчас пойдете к фортепиано и сыграете мне с листа любую из его трехголосных фуг, ни разу не ошибившись! У Вас там есть фортепиано? Или, быть может, упомянутые мною персоны не достаточно гениальны для Вас?

Мне было слышно в трубке, как он отхлебнул воды и громко стукнул стаканом о стол. Затем он продолжил: – Зачем же Вы, как попугай, повторяете сказанную кем-то безграмотным пошлость? Это доставляет Вам удовольствие? Что ж, люди привыкли жить обезличенно, шаблонно... Сколько глупостей они говорят и делают совершенно бездумно, машинально, только лишь потому, что не дают себе труда или смелости усомниться в величии навязанных им авторитетов. Всю жизнь они вращаются, как шестеренка в часах, с определенной скоростью в определенную сторону, потому что так надо. А может, дорогой мой, Вы пойдете еще дальше и станете утверждать, что все простое – гениально? Тогда нам останется лишь возвести на престол очередного олигофрена и в кровь расшибить себе лоб, молясь на его тупую рожу! А все бредни, которые он изрыгнет, мы вставим в рамы и развешаем по улицам, испишем ими все дома и выколем их чернилами на собственных задницах! Но так уже было, братец, и ничего хорошего, осмелюсь напомнить, из этого не вышло. Вот к чему может привести в итоге простое, казалось бы, повторение чужих глупостей.

Интеллигент до мозга костей, профессор почти поверг меня в шок столь «изысканным» подбором терминов, которые он использовал с такой легкостью, словно всю жизнь провел в подворотнях. Я, признаться, не совсем понял, что именно так расстроило его и заставило с такой горячностью убеждать меня в моей недалекости, но то, что я разочаровал моего собеседника, было совершенно ясно. Я решил взвешивать впредь каждое слово, чтобы не усугублять произведенного мною негативного впечатления.

– Я понял Вас, профессор. Мне жаль, что Вы расстроились из-за меня. Конечно же, я постараюсь сделать так, как Вы говорите и буду осторожен.

– Вы не девица, которая постарается не забеременеть на мальчишнике, мой дорогой! Или Вы четко представляете себе, что ищете и ведете себя как взрослый, или не стоит и браться за эту затею. Это понятно?

Единственно, что мне было понятно, так это то, что профессор Райхель – самый невозможный брюзга из всех, с которыми я когда-либо имел дело, и общаться с ним, пожалуй, сложнее, чем с любым из университетских преподавателей времен моего студенчества. Лишь много позже я понял, почему моя осторожность была так важна профессору, и отдал должное его предусмотрительности.

Затем он просветил меня касательно некоторых технических аспектов и нюансов, которые я должен учесть, чтобы не оказаться белой вороной и, пожелав мне успеха, вновь скомкал

разговор. У меня, однако, осталось чувство, что интерес его к этому делу стал лишь сильнее, а посему повесил я трубку вполне удовлетворенный и готовый к действиям.

Глава 6

Мертвый Улюк

Осень 1912-го года выдалась на редкость холодная, хмурая и неприветливая. На непостоянство погоды досадовали даже замшелые седовласые бородачи, боровшиеся со стихией всю свою жизнь и, казалось бы, к ней привыкшие. Текущий год ознаменовался небывало ранними заморозками, избытком осадков и тягучими, словно высасывающими душу, ветрами. Да что говорить, с самой, почитай, весны мать-природа разобиделась на мужиков и всеми мыслимыми способами совала им палки в колеса, препятствуя привычному течению жизни и вынуждая тратить трижды больше усилий для достижения обычного результата. Чего стоит одно только половодье, когда разлившаяся внеурочно Урица погубила половину посевов, смыла едва посаженные огороды и залила подворья, испоганив остатки сена и затопив погреба с хранящимися там овощными запасами прошлого урожая! А ночной мороз в мае, убивший весь цвет фруктовых деревьев и лишивший тем самым сердца хозяек покоя, а детишек повидла да варенья разного на всю зиму? А июньский пожар, погубивший кучу скота и лишь чудом не спаливший всю деревню? Град нещадно побил капусту и помидоры, а наступившая затем засуха «позаботилась» о картошке, урожай которой, несмотря на отчаянные попытки искусственного орошения, едва ли превысил посев. Мужики ходили хмурые и нелюдимые, приветствовали друг друга сквозь зубы да баб своих хвостали до синевы, чтобы хоть как-то душу ноющую отогреть да пар выпустить. Ребятишки, стайками и в одиночку, рыскали по тайге в поисках даров природы, а более для того, чтобы взгляда сурового да руки тяжелой родительской миновать, ибо всякому было ясно, что время для продуктивного педагогического контакта крайне неудачное.

Впрочем, деревня есть деревня, тайга есть тайга и земля, хоть и кочевряжится, а родит худо-бедно, так что совсем сгинуть с голоду было бы, что и говорить, неловко. Природа, пусть и построжится, а не отнимет последнего.

Как бы то ни было, а описанные катаклизмы заронили в суеверные головы малограмотных сектантов зерно сомнения в справедливости божественного промысла, а особенно богобоязненные из гудиковцев уже и поспешили с пророчествами грядущего конца света да креативными помыслами касательно методов его отсрочки. Их незаурядная назойливость, подкрепляемая вздохами и искрами страха в глазах сочувствующих им домохозяек из малочисленных в деревне дырников, грозила обратиться воинственностью и прямыми призывами к активным действиям, апогеем которых, как явствует из истории, несомненно должно было стать прикрываемое религиозными воплями массовое самоубийство, сопряженное с обычным для такого рода акций избиением младенцев да сожжением скота. Память людская хранила еще последовавшее не далее чем пару весен тому назад «избавление» жителей Улюка, соседней деревушки, от тягот мирской суеты, посланных кознями беснующегося на земле Сатаны. Сатане-то этому сподобленные вкрадчивыми увещаниями своего лидера сектанты-гудиковцы и показали дружно дулю, спалив свои подворья со всем скарбом, живностью, детьми и бабами и с радостью предав также и собственные бранные тела огню ради спасения души своей грешной. До сих пор проныра-ветер гуляет меж обугленных останков некогда крепких хозяйств, да острова неумно разросшейся крапивы разбавляют своим сочным колером гнетущий вид памятника человеческой глупости. Жители же окрестностей и днем избегают ходить в сторону мрачного погибшего Улюка, а уж в сумерках или ночью – упаси Боже! – плетью не заставишь, ибо говорят, что все еще слышен в погибшей деревне плач детский жалобный да вой бабий обезумевший, а искры давно погасшего огня вновь тлеть начинают ночами, грозя разгореться и поглотить путника неосторожного, заставив тело его сгинуть в синем пламени, а душу вечно маяться в страшных недрах пожарища. Ямщик с уездного города, задержавшийся в пути и посему проезжавший проложенным рядом со сгоревшей деревней трактом уже около

полуночи, видел якобы, как тени стонущие в длинных балахонах меж развалинами бродят да прохожих-проезжих случайных высматривают, чтобы на судьбу свою пожалиться да на погибель верную завлечь. Насилу-де избежал он злой участи, со страху обмочившись да исхвостав в кровь спину своего коня. Хоть и считался этот ямщик среди местных болтуном да пьяницей, и многие подозревали, что припозднился да штаны обмочил он совсем по иной причине, а мало кто возражать его рассказам да смеяться над ним вздумал. Правда оно или нет, а лучше промолчать и не вступать в бесовские игры, дабы лишней беды на себя не накликать. Ну, а если уж гудиковцы на рожон не полезли, то дырники и подавно в стороне остались, перекрестившись двоеперстием да помолившись на восток, как вера их требовала. Дела живых, а тем паче мертвых их не интересовали.

Сам же «спаситель душ» сгинувших жителей Улюка, глава и пастырь созданной им секты-стада Илья Гудик не считал нужным разделить судьбу своих односельчан и «спасти» вместе с ними в пламени, разумно полагая, что не достоин пока сего блага, ибо миссия его на земле еще не окончена. Сама мысль о том, как много доброго он мог бы еще свершить и сколько заблудших на выцветших полях дырничества и прочего беспоповства овец наставить на путь истинный, приводила его в восторженный трепет и заставляла активно изыскивать пути воплощения своих возвышенных идей, что он и постарался донести до жителей Николопетровки, через несколько месяцев после пожара начав строиться и пускать корни в этой деревне. Местные, которые до сих пор искренне полагали, что Гудик принял смерть вместе со всей улюкской общиной, постепенно оправались от шока и, будучи, повторяюсь, людьми темными и суеверными, поверили в высшее предназначение пастора, активно включившись в строительство и последующее обустройство его нового жилища. В нем Илья Гудик и обосновался вместе со своею женою Зинаидой, которую по окончании работ перевез назад в родные места из уездного города. Надо ли говорить, что деревня, отдавшая все силы и средства на это инженерное мероприятие, исподволь и пядь за пядью покорила воле вкрадчивого и обтекаемого-красноречивого Гудика, восторженно внимая его пространному рассуждению и размашистым обещаниям, которые он раздавал сельчанам словно жменьки семечек, и даже многие исконные дырники, замазав и заколотив некогда священные дырки в своих избах, ринулись в пучину рассказней впервые обретенного вожака, оставив своих бывших соратников по вере в явном меньшинстве. В общем, будни вошли в колею, и лишь свежие рассуждения о тяжких грехах и спасении души, которые все более настойчиво вел Илья Гудик среди своей паствы в этот неудачный год, заставили отдельных жителей Николопетровки внутренне напрячься, предчувствуя недоброе.

– Слышишь ли сам ты, что говоришь? И как не онемеют уста твои, столь бесстыдно сквернословящие?! Известно ли тебе, червь, какой лютой карой покарает тебя и отпрысков твоих до седьмого колена Господь за сомнения твои в силе и могуществе его, за нежелание твое упрямое пойти навстречу проповедующему Слово Его ради спасения души твоей и душ детей твоих, за то, что досадуя на деяния Его, ты мыслей своих богопротивных не устыдился и наглостью своею...

– Помолчи, Илья, хорош уж... А то заладил, «твоих» да «своих», – без особого почтения перебил вошедшего было в раж Гудика крестьянин лет сорока, с криво подрезанной литовкой рыжеватой бородой, свернутым на бок носом и уродующим старым шрамом в полщеки, придающим его лицу несколько угрожающее выражение. Голову его покрывало какое-то утратившее всякую форму изделие, а в неказистой дерюге, в которую он был облачен, с трудом можно было узнать овечий тулуп – обыкновенную зимнюю одежду крестьян здешних мест.

Яков Угрюмов – так звали собеседника самоназванного пастора – сидел на скамье в сенях своей избы и при тусклом свете толстой свечи что-то вырезал охотничьим ножом из куска мягкого кедра, придирчиво осматривая свое творение после каждых двух минут работы и, каза-

лось, совсем не слушал разглагольствований крутящегося перед ним Гудика, ибо был беспоповцем-дырником и в назиданиях кого бы то ни было не нуждался, что, должно быть, и бесило его незваного крикливого гостя. В дом Яков Гудика не звал, предпочитая переждать его визит в морозных снях, но не обременять жену свою, Киру Прокловну, присутствием в избе обрыднувшего сектанта.

Начав разговор в свойственной ему вкрадчивой манере и сопровождая каждое свое словесное утверждение серией гримас и ужимок, кажущихся ему уместными и весомыми, лиса-проповедник незаметно для себя самого повысил голос, засыпал предостережениями, все более напоминающими угрозы и, дав волю вызванному глубоко засевающим равнодушием и очевидной твердолобостью Якова раздражению, перешел, наконец, к обвинениям. Все повышая тон с тем, чтобы ни одно его веское слово не прошло мимо ушей находящейся в горнице через стенку жены хозяина, Гудик в самых черных и густых красках описывал ожидающие неверных детей Господа муки и страдания, которые-де непременно последуют как заслуженная кара за нежелание идти по тропе, указанной единственным человеком, знающим путь к спасению души, а именно скромным, богобоязненным и самоотрешенно радеющим за ближнего Ильей Гудиком, покорнейше тут перед вами, темными и неблагодарными, выплясывающим!

– Иди, Илья, домой. Поздно уж, да и слушать тебя тошно, с души воротит...

Яков говорил медленно, словно с ленцой, да позевывая, и по всему было видно, что человек он терпеливый и мирный, к ссорам не склонный и шума не любящий. Он не недоверчив и не враждебен к гостям, просто занят своим делом и не желает, чтобы ему в этом мешали, вот и все. Знающие его близко люди, однако, тут же поняли бы, что добродушный гигант находится сейчас в высшей степени раздражения и нужно лишь совсем еще немного, чтобы гнев его вырвался наружу, и тогда уж тесно станет в горнице не только назойливому проповеднику, но и чертям, незримой вереницей повсюду за ним таскающимся.

– Не гоже, сосед, вечерами по людям ходить да на ночь их страстями потчевать, тебе ли не знать этого, коли уж, как говоришь, о благе нашем печешься? Я, сосед, свои собственные мысли тут не торопясь собираю, в покое да раздумье их на ниточку насаживаю, как грибы для сушки на зиму, так что короб твоих измышлений оставляй в будущем за порогом моего дома, а ушат негодования твоего так и вовсе за воротами в грязь выливай, не нужно мне этого здесь... А теперь ступай, сосед, спать мы будем.

Как ни взбесился в нутре своем Гудик, как ни вскипела кровь его от столь откровенного хамства и наглости неотесанного дыромоля, посмевшего не только на внушения его не поддаться, но и, по сути, на дверь ему указать, а стерпел Илья горечь поднесенного напитка, почувял печенками, что не будет добра, вздумай он продолжать разговор или, чего доброго, агрессией ответить на неприязнь Якова Угрюмова, столь неприкрыто ему продемонстрированную. Посему, сухо простившись, глава секты собственного имени ретировался в темноту осеннего вечера.

Выйдя из сеней на пробирающий до костей холод позднего сибирского ноября, Гудик разъяренно топнул облаченной в валенок ногой, сплюнул и, испуганно оглянувшись – не видел ли кто? – направился, пыхтя от гнева, к своему дому, стоящему на пригорке в паре сотен метров. Этот приземистый, худощавый человек с наружностью хорька и красным от постоянного насморка и алчности носом многое повидал на своем извилистом, похожем на заячью тропу, жизненном пути, многим пустил пыль в глаза, многих подмял под себя и, само собой, не собирался отступать и на этот раз, позволив какому-то барану вонючему волю свою изъяслять да от стада общего шарахаться! Не для того он по крупичам, камешек к камешку, возводил среди недоумков деревенских башню своего авторитета, не за тем он стройное древо власти своей взращивал да постулаты новой секты продумывал, чтобы случайный бунтарь, мышшь землеройная, корни его подточил зубами своими неровными! В Улюке, чьи черные развалины портят теперь таежный ландшафт в паре верст к западу, ни один, дело прошлое, не решился перечить

воле и силе убеждения главенствующего богомольца, ни одна бестолочь не посмела вопросов неугодных задавать или, упаси Бог, послушаться приказа его! Ибо лишь он мог верно трактовать написанное в Библии, которой они, к слову, до него и в глаза-то не видели, лишь он умел предвидеть грядущее и позаботиться о спасении душ овец своих, направив взгляд их замыленный в нужную ему сторону, и именно ему несли они перед богоугодным самопожертвованием добро свое, меха да прочие ценности накопленные, дабы в райских чертогах, где все они вот-вот обретутся, вновь получить их в целостности и сохранности, как он и обещал им...

Вот и здесь, в затерянной в таежной глубинке Николопетровке, куда судьба вновь забросила распрощавшегося было с деревенской грязью и неотесанностью Гудика, все должно было пройти без сучка и задоринки, позволив ему удвоить свое состояние и переселиться, наконец-то, куда подальше от этих мест, где религиозного радетеля знает, что называется, каждая собака и, пожалуй, не с лучшей стороны...

Кто-то, быть может, сейчас усмехнется: что взять-де с нищих крестьян, живущих частными посевами да таежным промыслом? Но Илья Гудик лучше других знал, что означает этот самый промысел в пересчете на звонкую монету; не раз и не два он сам, отложив на время заботы о душе, пытался посредничать при купле-продаже соболя да хариуса, щедро поставляемых тайгой да быстрой Урицей. Самых же добытчиков он призывал к скромности, дабы не растрчивали монету на мирские удобства да прочие излишества. Сам же Илья любил жить с размахом, со вкусом, да и в утонченных удовольствиях толк знал, о чем, впрочем, среди своей паствы не распространялся, предпочитая лицо делать постное и скорбное да вздыхать почаще, сожалея о греховности бытия человеческого.

Несмотря на все коммерческие потуги купца из Гудика не вышло, но вот проповедник и глава названной его именем религиозной общины, а вместе с тем вор и подлец получился славный, а удачная афера с Улюком и вовсе убедила красноносого ловкача в наличии у него особого дара – дара убеждения, открывающего перед ним резную дверь в красивую жизнь, которой он так жаждал. Сам крестьянский сын, Илья Гудик лучше других знал беды и страхи жителей таежных сибирских деревень, и именно из этого вязкого материала строил он свои зыбкие замки-миражи, в которые поселял веру и волю людскую.

Чуть поодаль хрустнула ветка, и где-то внизу, у самой реки, завывла потревоженная дурным сном собака, сетуя на свою несуразную собачью судьбу. Гудик вздрогнул, очнувшись от овладевших им дум, и прибавил шагу. Чуть слышно всхлипнув, калитка в высоком добротном заборе отворилась и пропустила его во двор, а секундой позже с крыльца раздался глухой топот избавляющихся от налипшего снега катанок, стук двери и скрежет массивного засова, отгородившего на ночь верховного верующего деревни от внешнего мира.

Глава 7

Переселенец

Да... Отвратительная сегодня погода, непредсказуемая. Но, видать, угодно было Господу послать отцу такие испытания, погнать его через степи да тайгу на поиски лучшего места для своей шестиголовой семьи, что укрылась сейчас под кучей наваленных циновок да полушубков в полуразвалившихся санях, влекомых такой же полуживой спотыкающейся лошадей по замечательной куражащейся метелью лесной дороге. Тощее изможденное животное едва передвигало ноги, и было неясно, движется ли оно собственными силами или покоряется воле подталкивающего его под иссохший зад ветра. Обрушившаяся внезапно, словно пролитая на дорогу из небесного ушата, темнота и вовсе лишила путников возможности видеть дорогу, и отец, который и без того вот уж второй день шел рядом с подводой, был вынужден пойти впереди нее, чтобы дать хоть какой-то ориентир глупой старой кляче, больше похожей на лошадиный призрак.

Ранним сегодняшним утром продолжили они начатый более недели назад путь, переночевав на подворье у какого-то отцовского знакомого из села Стояново, чья жена – награди ее Бог! – истопила путникам баню по-черному и даже дала поесть горячей похлебки из гусиных потрохов с горохом, показавшейся семилетней Аглае самым вкусным блюдом из всех, что ей когда-либо доводилось отведать. А как же! Продрогшему и уставшему за день детскому тельцу живительный пар бани да миска чудесного гусиного эликсира были как нельзя более кстати, чтобы хоть немного восстановить истраченные на борьбу с дорожными лишениями силы. Усиливающийся кашель и нездорово порозовевшие щеки ребенка родительского беспокойства не вызвали, а от замечаний встревоженной хозяйки по этому поводу отец просто отмахнулся: это, дескать, обычное дело, дите устало и все, что ему нужно – пара часов сна в тепле, которые Аглая и получила. Мать же – худощавая молчаливая женщина с запавшими от усталости потухшими глазами, была полностью поглощена заботой о годовалых близнецах, своей требовательностью отнимающих все ее время и силы. Она все еще кормила их грудью, и капли чудом не пропавшего до сих пор молока блестели на их лоснящихся и пышущих довольством физиономиях, что порой раздражало Аглаю и заставляло испытывать чувство неприязни к братишкам, укравшим у нее заботу матери и «титул» младшего, а значит и любимого, ребенка. Маленькое сердце Аглаи переполнялось горечью, когда она видела, как любой каприз «одинаковых мальчиков» сию минуту исполнялся имеющей собственное мнение о правильном воспитании мамашей, ее же желания и нужды попросту игнорировались, в лучшем случае находя отклик в виде подзатыльника или окрика. Ну, а Соня, старшая сестра, давно жила в своем мире, отгородившись от семьи и окружающих и оставаясь холодной ко всему происходящему, так что и у нее искать сочувствия и поддержки было бы «пустым мероприятием», как выражался отец. Вот и в эту ночь, разбуженная пылающей от жара и что-то лепечущей в бреду Аглаей, Соня лишь досадливо поморщилась, по привычке пробурчав что-то оскорбительное и, повернувшись на другой бок, продолжила просмотр своих эгоистичных снов, наполненных грезами о ее величии. Большой ребенок покричал что-то в немую темноту, бесслезно поплакал и затих до утра, впад в забытье.

После недолгих раздумий поднявшийся еще затемно отец решил все же продолжить двигаться к месту следования, ибо, по его расчетам, до деревни Николопетровка, в которую он с семьей направлялся, оставалось не более дня пути, и он, измотанный долгой дорогой, стремился достичь ее как можно скорее. По этой причине все другие мысли и аргументы отошли для него на второй план, и доводы хозяев, не желающих отпускать его в путь с разбитой болезнью девочкой, разумными ему не казались. Была и еще одна причина, вынуждавшая переселенца спешить: в санях, заваленный для маскировки тряпьем, находился сундук, в черном

нутре которого скрывалось все, что отец заработал за всю свою жизнь в городе, вплоть до того самого времени, когда происки недоброжелателей вынудили его покинуть насиженное место и искать пристанища в глухой таежной деревне, скрытой от глаз людских лесными дебрями и расстоянием. Был ли он сам повинен в столь неприятном повороте его судьбы, или злая воля завистников принудила его набить этот сундук и искать спасения в бегстве, неизвестно, ясно лишь, что обещавший приютить его с домочадцами старовер Илья Гудик вызывал в нем больше доверия, нежели оставшиеся в уездном городе приятели и бывшие партнеры. Итак, все, что сподобился отец сделать для Аглаи в то утро, так это бросить в сани, к сундуку с ценным содержимым, пару-тройку дополнительных одеял и, поцеловав девчушку в лоб, пожелать ей доброго пути.

К добру ли, нет ли, но расчетам главы ютящегося в скрипучих санях семейства не суждено было сбыться: ранний ноябрьский вечер окутал окрестности густым сумраком, вновь пошедший снег засыпал и без того едва видимую санную колею, и хлипкая лошадь, не то испугавшись ночи, не то по каким-то иным, одной ей ведомым причинам, не возжелала продолжать путь самостоятельно, сколь суровы и зычны ни были окрики шедшего рядом с нею отца. Отчаявшись пробудить совесть в наглom безответственном животном, он пошел впереди, прокладывая путь собственными сапогами и таща за собою осыпаемую проклятиями и отборной руганью клячу. Хлопья снега залепляли ему глаза, мороз, попустивший было днем, к ночи снова крепчал, кусая сжимавшие узду пальцы отца даже через меховые рукавицы, а жаркое, с хрипотцой, отцово дыхание застывало на усах и бровях его тяжелыми ледяными каплями. К злости на себя, нерадивую лошадь и весь мир, несправедливый и гадкий, примешивался страх заблудиться и, так и не добравшись к ночи до спасительного теплого жилья, сгинуть в тайге, замерзнув насмерть. Переселенец в отчаянии добавил шагу, пробираясь уже практически на ощупь и каждую секунду рискуя свернуть с неразличимой уж почти дороги в густую неведомую чащу. Зачем пошел он сегодня один? Зачем не послушал совета приютившего его в предыдущую ночь Тимофея таежного знакомца и не взял себе провожатого, просившего не такие уж большие деньги за свои услуги, в сравнении с перспективой окоченеть и потерять все? Вот-вот! Именно этого-то он и боялся: как знать, не проведает ли чужак-проводник о ценностях, хранимых в наспех заброшенном ветошью старом сундуке, и не возалчет ли их? Как бы то ни было, а в этих краях отец был чужим, и нравы местного населения были ему неведомы, что и вынуждало осторожного горожанина быть подозрительным и не доверять до конца никому. Да и Илья, к слову сказать, предупреждал его о том же: народ тут, дескать, недалекий, но до наживы охочий, а посему следует быть начеку и истинного своего положения, особенно финансового, не выказывать, дабы на грех неразумных детей Божьих не подвигнуть и целым остаться. Да и семью, по большому счету, лучше бы пока в городе оставить, не тащить за собой, дабы ненужным трудностям да лишениям не подвергать. Посему куда как разумней было бы сначала одному приехать и, воспользовавшись ильевым гостеприимством, осмотреться да быт, что называется, подготовить, а после уж и супругу с детьми тревожить, на новое место обитания перевозить. Доводы Ильи показались тогда отцу разумными и обоснованными. К тому же он, будучи человеком тактичным и понимая, что забота радушного знакомца вызвана не в последнюю очередь отсутствием у того энтузиазма привечать у себя на неопределенное время целую ораву, излишне обременять Гудика не желал, а посему заверил последнего, что приедет один и особых хлопот хозяину не доставит. На том и порешили.

Жизнь, однако же, мало интересуется нашими планами и намерениями. У нее свои расчеты и замыслы, менять которые в угоду нашим желанием ей не с руки. Вот и задумкам сегодняшнего переселенца не суждено было осуществиться: запутанные дела его финансовые и еще более осложнившиеся взаимоотношения с бывшим его окружением, которые он, будучи человеком хоть и разумным, но порой излишне эмоциональным, так и не сумел наладить, спутали ему все карты, заставив изменить планы. Он пожелал разом обрубить все концы и, какими бы

пугающими ни казались тяготы предстоящего путешествия, все же решил сразу взять с собою жену, Соню, Аглаю и близнецов, которые менее всех представляли себе, какие разительные перемены уготовила им судьба.

Раздававшийся из саней надсадный кашель расхворавшейся семилетней дочери целый день рвал сердце отцу, а под вечер начал раздражать. Ведущий под уздцы сквозь темень сибирского леса опротивевшую ему лошадь, глава семейства стискивал зубы и напрягался при каждом его приступе, более всего на свете желая, чтобы эта пытка наконец прекратилась. Он остро ненавидел дочь за ее внезапную болезнь, за несуразную хворь, встревожившую его, и презирал себя за то, что испытывал это чувство по отношению к безвинному ребенку. Его отвращение к себе усугублялось сознанием, что вся вина за постигшие его близких злоключения целиком и полностью лежит на нем, а шансы на благополучный исход всего мероприятия с каждой минутой и каждым градусом все крепнущего мороза неумолимо тают. Нарастающее отчаяние и страх гнали его вперед, а бешеные мысли, крутившиеся вокруг его несчастной доли и вызывавшие острую жалость к себе не позволяли ни на минуту остановиться, чтобы осмотреться и трезво оценить возможные варианты дальнейших действий. Он просто остервенело рвал вперед, с силой вбивая каждый шаг в ненавистный снег и почти не чувствуя усталости. Он привык к трудностям и боролся с ними, как мог.

Сдавленный крик жены вывел отца из его отчаянного оцепенения. Он с раздражением остановил лошадь, оттолкнул от себя ее фырчащую и брызжущую теплой слизью морду и, повернувшись всем телом, грубо поинтересовался причиной несдержанности супруги.

– Аглая не дышит! Слышишь, она умерла! – крик матери перешел в истерику, звенящей струной пронзив относительную тишину мрачной ночной тайги. – Моя девочка умерла!

Двумя прыжками преодолев расстояние до саней, отец бросился к лежащему у сундука тельцу, оттолкнул причитающую над ним бабу и, разметав спутанные тряпки и одеяла, склонился над ребенком. Спустя несколько бесконечно долгих мгновений, во время которых его собственное сердце, казалось, перестало биться, ухо отца уловило чуть слышное сипящее дыхание Аглаи, говорящее о том, что жизнь еще теплится в этом маленьком слабом существе, все еще борющемся с почти одержавшей верх злой болезнью. Однако же, несмотря на то, что девочка еще жила, было ясно, что она стоит на краю пропасти, и лишь чудо могло бы спасти ее, отвести от края разверзшегося перед ней бездонного ущелья, тем более, что о врачебной помощи и лекарственных снадобьях в сложившихся условиях не могло быть и речи.

Чуть было воспрянувший духом отец вновь впал в глубочайшее отчаяние, захрипел и, сдернув рукавицы, вцепился себе в волосы окоченевшими пальцами. Тупой осел! Проклятый детоубийца! Зачем он не послушал сегодня утром разумного совета и не переждал дочернину болезнь в той деревне?! Почему подался в зимний лес, в эту Богом проклятую тайгу, презрев голос разума? Зачем Господь позволил жить такому беспросветному идиоту?! Зачем он дал жизнь Аглае, если девочка должна распрощаться с нею столь юной?! Несчастный родитель готов был сию секунду подохнуть, как бездомная собака, если бы это могло спасти жизнь ребенка, почти не замечаемого им раньше и в один миг ставшего вдруг таким дорогим. В отчаянии он судорожно сжимал тонкие липкие пальцы умирающей девочки, потеряв всякую способность мыслить пред суровым лицом явившегося к нему горя.

Мать рыдала над сгорающим в лихорадке детским телом, то порывисто прижимая к себе голову девочки, то вновь опуская ее на тряпки, то наклоняясь к дочери, то отшатываясь от нее в припадке визгливого плача, когда ей казалось, что она снова не слышит ее дыхания. Брошенные близнецы исходили криком, насупившаяся Соня мрачно наблюдала за всеми, а время, казалось, остановилась, наслаждаясь постигшим неудачливое семейство несчастьем.

Вдруг Соня, в своей странной черствости оставшаяся внимательной к окружающему миру, тронула за плечо сидящего теперь на земле и раскачивающегося из стороны в сторону

отца и, дождавшись, пока тот поднимет на нее полный боли взгляд, молча указала подбородком куда-то в сторону от дороги.

Ну, что там еще? Отец машинально повернул голову и посмотрел в указанном старшей дочерью направлении, не ожидая увидеть там ничего примечательного или полезного. Но увидел. Метрах в пятидесяти от остановившихся саней, справа от дороги, в темноте ночи мерцал огонек свечи, или, во всяком случае, что-то очень на него похожее. Огонек не стоял на месте, он передвигался, то скрываясь от глаз за одним из древесных стволов, то вновь появляясь в поле зрения путников, удивленных и замороженных неожиданным миражом. Странно, но шныряющему меж деревьями ветру, распоясавшееся веселье которого ощущалось довольно сильно, никак не удавалось одолеть трепещущий язычок пламени, неукоснительно и храбро движущийся в сторону замерших на дороге саней, то почти угасая под его порывами, то разгораясь с новой силой, словно в насмешку над терзающей его непогодой. Ни хрустом веток, ни шорохом одежды, ни какими-либо иными звуками видение не сопровождалось, что было весьма странно для ночной тайги, бесшумно и уверенно ступать в дебрях которой смог бы, пожалуй, лишь тот, для кого она была не просто родным домом, но периной, колыбелью и материнской грудью, мягкой, теплой и послушно-податливой.

В наступившей вдруг тишине не было слышно ни звука. Даже мать, пару мгновений назад бывшая самым отчаянием, прервала свою уже переходящую было в оплакивание истерику, с суеверным ужасом воззрившись на неожиданно возникшее в ночном лесу явление, несущее с собой горе, быть может, еще более всеобъемлющее и разрушительное чем то, что уже почти случилось. Не научена была темная жена переселенца ждать добра от незваных гостей, всегда приносящих либо плохие известия, либо хлопоты, а чаще и то и другое вместе. Здесь же еще хуже – незваными гостями были они сами, и хлебосольности от приближающегося хозяина можно было ожидать менее всего. В том же, что свечу сжимает рука именно того, кто имеет неоспоримые права и на лес, и на дорогу, и на жизнь передвигающихся по ней незадачливых путников, мать умирающей Аглаи не могла усомниться. Позабыв все запреты и обещания, она, как в детстве, быстро перекрестилась двоеперстием и, чуть улыбнувшись при мысли о скорой встрече с Богом, стала ждать гибели.

Тем временем огонек, приблизившись еще немного, замер сажень в шести от саней, словно несший его неизвестный решил рассмотреть свои жертвы повнимательнее, прежде чем вынести им окончательный приговор. Несмотря на то, что сани почти полностью скрывала тьма, было очевидно, что для пришедшего она препятствием не является, словно и свечу-то он нес скорее для того, чтобы быть замеченным путниками, нежели для собственного комфорта. Облепившим сани испуганным людям не оставалось ничего другого, как уповать на Господа в робкой надежде на его милость, и даже бесчувственная Соня замерла в ожидании, скованная цепью из странного сплава жутки и восторга.

В темном небе, состоящем, казалось, сплошь из закрученного ветром в причудливые спирали снега, произошло вдруг нежданное изменение, словно сердце сурового царя небесного оттаяло, отледенело, и он, растроганный беспомощностью и отчаянием попавших в плен судьбы путников, чуть приоткрыл непроглядную завесу своих владений, велел бледному пажу-месяцу пролить несколько капель зеленоватого неровного света на ночную тайгу, бывшую в этот час ареной столь прискорбных событий. Как ни мутен и ни неверен был его свет, а и его оказалось достаточно, чтобы выхватить из тьмы худую, чуть сгорбленную фигуру, на первый взгляд женскую, закутанную, на манер богобоязненных нравственно крепких староверок здешних мест, в бесформенное одеяние темной ткани с капюшоном, напоминающим монашеский и почти совсем скрывающим лицо. Кажущиеся в лунном свете абсолютно белыми пальцы обхватывали длинную свечу, которую безмолвная неподвижная фигура держала перед собой, почти прижав к груди, так что язык свечного пламени плясал где-то на уровне предполагаемого лица, грозя опалить пришедшей ресницы. Теперь, при свете месяца, можно было различить,

что ни тропы, ни просеки за спиной у обладательницы черного балахона не было, она просто появилась из гущи леса, наведя ледяную жуть не только на сгрудившихся у саней смертных, но и на рыскающий ветер, посчитавший разумным ретироваться и забиться, как обиженный пес, в какую-то свою ветряную берлогу.

Впрочем, можно думать, что в появлении этого нового персонажа пред кочующим по сибирской тайге семейством не было ничего странного, если не считать, разумеется, несколько неподходящего для заведения новых знакомств времени. Однако же, живописность проработанной умелой кистью небесного художника картины этого появления произвела на главу семьи, его жену и старшую дочь впечатление необычайно яркое, заставив душу поднять из своих глубин весь накопленный за жизнь страх, который, словно взболтанный в бадье браги осадок, в одно мгновение замутил неверный человеческий разум, принудив его искать спасения в спорном тепле накатившей вдруг лавины суеверий. Даже строптивые близнецы не подавали больше голоса, словно почувствовав важность происходящего.

Однако же, едва фигура произнесла первые слова, напряжение спало, как тяжелый тулуп с плеч уставшего ямщика, а гулкий, но спокойный женский голос, которым она обратилась к путникам, и вовсе успокоил тех, разрубив мучительные оковы ожидания и тревоги.

– Куда шли вы таежной ночной дорогой и чем вызвана заминка ваша в пути? – несмотря на мягкость тембра, интонации, с которыми незнакомка начала допрос, были властными, а чуть замедленный темп речи лишь усугублял весомость ее слов.

Поозиравшись по сторонам в поисках неведомой поддержки, отец вспомнил-таки о своей роли главы семейства и, чуть приосанившись, ответил:

– Да вот, видите ли... – в его голосе все же слышалась неуверенность, – дите большое у нас, почти помирать уж вздумало... В жару лежит да дышит через раз. Бьемся над ним, мать вон причитает, да что поделаешь? Незадача в пути случилась, одним словом. Я-то сам из города, да решил вот..

– погоди, – пресекла странная женщина разрозненный поток речи растерявшегося переселенца. – Дите, говоришь? Что ж ты его, больного, в лес поволок? борода вон, вижу, седая, а ума не нажил. Где парнишка-то?

– Девчоночка это, семи годов от роду. В санях вон, под тулупом, – не привыкший к чужой над собой власти, опешивший отец становился все покорней, словно смирившись с шальной судьбой, преподносящей ему сюрпризы. Он едва заметным движением подбородка указал в сторону чуть подернутых испуганно дрожащей лошадьёю саней и снова замер в ожидании дальнейшего распоряжения, которое тут же и последовало.

– Принеси ее и положи на снег между нами, сам же снова отойди. Не бойся, я лишь посмотрю, как ей помочь, – добавила фигура, заметив нерешительность явно удивленного ее словами бородача.

Пару мгновений помедлив, тот, оттолкнув руку пытавшейся было помешать ему жены, тяжело повернулся и, подсунув руки под груды тряпок, в середине которой умирала его младшая дочь, не без труда поднял ее и неуклюже вынес на три сажени вперед, где положил на покрытую ноябрьским снегом землю. Распрямившись, он попытался было получше рассмотреть лицо наблюдающей за ним таежной незнакомки, но та нетерпеливым жестом левой руки принудила его ретироваться, и лишь дождавшись, когда он вернется на свое прежнее место у саней, двинулась вперед.

Склонившись над ребенком, фигура несколько секунд всматривалась в его лицо, словно решая, стоит ли этот погибающий человек ее помощи, после чего решительно подняла девочку на руки, странным образом не уронив свечу и даже не потревожив ее пламени, и, выпрямившись во весь свой рост, отчеканила:

– Если оставить ее здесь, с вами, она умрет. Жизни в ней не более, чем на час. Однако же, если я возьму ее с собою, она будет жить. Ты идешь в Николопетровку, к Гудику, и сбился с

пути. Так разверни же лошадь и следуй за месяцем, между двух старых кедров. И, если Господь тебя не пощадит, ты дойдешь до места. Девочка же появится в деревне, когда поправится. Не знаю, суждено ли тебе снова ее увидеть, но она, повторяю, будет жить. Так что ты решишь?

Словно придавленный к земле каким-то внезапно наступившим прозрением, угрюмый бородач обхватил рукой стан своей метнувшейся было с воем в сторону незнакомки шипящей лебедицы-жены и рывком забросил ее в сани, где она продолжила биться в бесплодной истерике, после чего, с молчаливым остервенением хлестнув вожжами замершую в ужасе лошадь, направил ее в указанном таинственной спасительницей направлении, навстречу собственной гибели.

Глава 8

Лагерник

События, о которых я также должен вскользь упомянуть, произошли со мной во времена моей сопливой пионерской юности, когда я, облагороженный повязанной вокруг моей тощей шеи частицей трудового красного знамени, был насильственно водворен на все время летних каникул в один из ненавистных мне пионерских лагерей, в изобилии разбросанных вдоль поросших хвойным лесом и разнуданными нравами берегов вальжной Тубы, неспешно несшей свои воды по восточно-сибирским просторам к бабушке-Енисею.

Ненавистными я назвал лагерь потому, что царящие там дикая муштра и атмосфера пафосной преданности возвышенным идеям были столь же противны моему юному сердцу, как и любые другие проявления человеческой глупости, а само устройство и распорядок жизни тем более напоминали оные в лагерях исправительно-трудовых, также широко представленных в нашей местности.

Разумеется, имея такой настрой, вжиться в какое-либо общество невозможно, и уже через несколько часов сам воздух в лагере мне опротивел, а шастающие строем гордые выкидыши коммунизма с приткнутыми к дебильным лицам медными горнами и гротескными, бездарно рифмованными речевками вызывали тошноту.

Похотливые тощие лярвы-пионервожатые, набранные из каких-то педучилищ для прохождения производственной практики, деловито сновали туда-сюда, раздавая нелепые приказы и без особого успеха пряча за спину дымящиеся дешевые сигареты при приближении суровых матрон-воспитательниц, с материнской назойливостью блюдящих моральный облик вверенных им институток. А поскольку общеизвестно, что мораль крепчает, когда дряхлеет плоть, то в радивости этих грузных теток можно было не сомневаться. Это значило, что всяким там плавукам-дискжокеям, сальными глазами пожирающим представительниц молодого педагогического состава, придется проявлять чудеса ловкости, чтобы преодолеть сие препятствие и отправить-таки свою похотливую нужду в жарких объятиях этих никогда не возражающих чьих-то невест.

Бесцельная суета, примитивные, вмененные в обязанность развлечения и вечная твоя востребованность для производства каких-то грязных работ не оставляли времени ни полезным занятиям вроде чтения, ни просто размышлениям. Все твои мысли должны были быть направлены исключительно на изобретение новых способов воздаяния почестей твоей Советской Родине, а твое пионерское сердце трепетать от восторга при виде колышущего холодным утренним ветром вздернутого на флагштоке засаленного грязно-красного знамени, под которым тебе не возбранялось вместе с восходом солнца встать на перекличку в один ряд с такими же измученными и задерганными твоими товарищами, не засыпающими прямо здесь лишь потому, что линейке всегда предшествовала здоровая бодрящая зарядка, принять участие в которой тебя неизменно ласково побуждали пинки и брань комсомольцев – твоих старших братьев. Исключением были те дни, когда упомянутые братья (и, соответственно, сестры) сами не могли подняться после ночного потребления принесенного из близлежащей деревни спирта, и тогда их заменяли непосредственно воспитательницы, что было, впрочем, еще хуже.

«Бери ложку, бери хлеб, собирайся на обед!» – и очередной перл пионерской рифмы, насадно выкрикнутый гордым своим постом дежурным по столовой, выводит тебя из чуждых нормальным советским гражданам раздумий, которым ты, по недомыслию своему, посмел было предаться. Отвратительный визг горна, выдавленный с обветшалой трибуны гномом в красной пилотке и черных шортах, заставляет тебя, передернувшись всем телом, подскочить с заплечной скамейки и стремглав броситься в строй направляющихся в столовую ленинцев, на ходу подхватывая столь же залихватскую, сколь и тупую речевку, без которой допуск к еде

для тебе закрыт, а, следовательно, ты рискуешь лишиться целой ложки водянистого толченого картофеля с накрученной из глаз и шкуры котлетой, а то и жирного пирожка с последами и тертыми деснами к прохладному чаю из опилок, которого так жаждет твое разгоряченное горло, истерзанное бесконечными хвалебными выкриками в адрес изображенного на пионерском знамени лысого вождя, которого ты так любишь.

«Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!» – без этого бреда покинуть полутемный, провонявший прогорклым жиром и больше похожий на хлеб обеденный зал было невозможно, как невозможно было и уйти без строя, который неизменно должен был протоптать шестьдесятчетырьмя облаченными в разномастную гнилую обувь загорелыми ногами по лоснящемуся и скользкому от разваленной и размазанной еще во время завтрака липкой каши полу.

Вот и идешь, ретиво отбивая шаг и дожевывая худой капустный лист, из которого, помимо воды, состоял твой суп, в так называемый корпус, а по сути – барак, где ты и обитаешь в камере на тридцать человек, имея свою тумбочку, а в ней – кусок вонючего хозяйственного мыла, которым ты и чистишь по утрам зубы, ибо твою зубную пасту перепившиеся пионервожатые в первую же ночь выдавили тебе, спящему, частично в трусы, частично за шиворот, а зубную щетку твою забрали для чистки своих ботинок сливочным маслом, скудный паек которого ты им сам каждый день отдаешь после завтрака, дабы избежать педагогического тычка шваброй в рыло да сохранить неотбитыми почки.

Мне же, с моей мечтательно-рассеянной натурой и некоторой природной леностью было, пожалуй, немного хуже, чем другим, да и язык свой непослушный я никак не мог обуздать, – его скорость всегда была чуть выше скорости мысли, да и сами мысли нимало не соответствовали тем, которые, согласно указаниям ЦК и ГорОНО, должны были бурлить в голове десятилетнего парнишки, имеющего счастье идти славным путем, указанным хитро щурящимся с портретов «самым человечным человеком».

Человек этот, как оказалось, требовал моего неукоснительного бездумного послушания и раблепной тряски при виде символов власти навязанного им режима. Моя же неумная фантазия и склонность к анализу переживаний явно противоречили вышеописанным ценностям, и возведенные в ранг церкви коммунистические святые меня не трогали, что уже само по себе было сродни преступлению, за которое меня ждала самая страшная кара. Причем не только ждала, но неизменно находила, ибо за слова свои да вольность мыслей и поведения я наказывался столь же регулярно, как и ходил пописать, а посему такие меры, как назначенные мне дополнительные часы сбора окурков по лагерной территории или призывы к «бойкоту меня» не были мне в диковинку. Надо сказать, настоящему бойкоту я был бы только рад, так как это дало бы мне хоть немного продыху от назойливости моих многочисленных начальников, начиная от командиров звена, ячейки и прочей хрени до сурового Павла Степановича – директора лагеря, человека жирного, вздорного и в высшей степени отвратительного. По утрам Павел Степанович носил свое огромное, рыхлое и за версту воняющее кислым потом тело от одной хозпостройки к другой, ревностно проверяя исполняемость каких-то своих тайных распоряжений, жрал, чавкая, все что попадалось под руку и, едва скрывшись за каким-нибудь углом, вдохновенно и продолжительно испускал газы, энергично оттягивая при этом половину задницы для облегчения сего действия и полагая, что ненаблюдаем. В рядовых каждодневных линейках-переключках, куда мы сгонялись, как скот, он участия не принимал, великодушно оставляя толику вождельной власти своей заместительнице – престарелой крашеной шлюхе Светлане Ильиничне, женщине типично советской, то есть глупой и наглой, обладающей к тому же крысиной мордой и широченным, но, увы, давно уж не востребуемым задом, противовесом которому при ходьбе служил ее поистине громадный бюст, который она носила перед собой, словно поднос с юбилейным тортом. В молодости она, похоже, не один десяток бравых молодцов подмяла под этот пресс, теперь же ей в своих утехах приходилось по боль-

шей части довольствоваться лишь собственным мужем, которого она пристроила на хоздвор при лагере не то истопником, не то свинопасом. Такое положение Светлану Ильиничну, натурально, злило и огорчало, и огорчение это проявлялось в наисуровейшем обращении с подчиненными ей более молодыми жрицами свободной любви – обладательницами порой тощих, но куда более вертлявых задниц. О нас же, воспитанниках, и говорить не приходилось: мы были просто горсткой вонючих, вызывающих зуд насекомых, которых она страстно и со знанием дела давила. Должно быть, опыт пришел к ней еще в молодости, при борьбе с собственными лобковыми вшами...

Так вот, днем Павел Степанович куда-то исчезал, чураясь летнего зноя, а к вечеру вновь объявлялся на территории лагеря, и его сиплое замученное дыхание можно было слышать то в столовой, где он продолжал набивать свою бездонную утробу, то в одном из корпусов, встречающем его встревоженными и полными брезгливости глазами юных вожатых, то на террасе деревянного клуба, являющегося местом проведения вечерних планерок лагерных надзирателей всех мастей. Там он, расстегнув рубаху и выставив на обозрение обильно поросшую слипшейся от пота шерстью грудь, восседал в массивном низком кресле и распоряжался из его глубин ничтожными судьбами нарушителей лагерного режима, обновленный список которых он каждый вечер получал от своей пораженной неврозом заместительницы. Других дел у него, похоже, и не было, так как судьба, к примеру, провианта была им уже давно решена: половину его жирный бздун сожрал прямо на месте, другую же велел переправить в город, получив в замен то, чем нас и кормили в пионерском лагере «Мечта», память о котором по сю пору волнует и трогает мое сентиментальное сердце. В вопросах же педагогики наш Павел Степанович был сведущ настолько же, насколько мерин в рукоделии и целиком полагался в этом на авторитетное мнение все той же Светланы Ильиничны, которая, помимо всего прочего, умудрялась где-то изыскивать для него бутылку марочного коньяка каждый вечер, да вовремя предлагала свои пышные формы под рюмочку. Так что наш новоиспеченный Черчилль предпочитал не рубить сук, на котором сидел или, если хотите, на которых лежал... В общем, это был сыгранный дуэт.

Меня же все эти вещи интересовали постольку поскольку. С одной стороны, я не хотел, что называется, отрываться от коллектива, и даже составлял иногда компанию смельчакам, затаив дыхание созерцающим сквозь царапины на закрашенном стекле душевой неприкрытые молочные железы заместительницы начальника лагеря и огромный вихрастый треугольник внизу ее массивного живота, поражающий своими размерами даже неискушенных десятилетних «стажеров». С другой же, я не понимал необходимости лезть на рожон, рискуя расплатиться собственным благополучием за это зрелище сомнительной ценности, да и собственные мысли, которым я любил предаваться в одиночестве, интересовали меня значительно больше, нежели все школярские приключения вместе взятые. Посему, отдав дань социуму, я спешил уединиться с книгой или же просто побродить по той части территории, где не было так шумно и не водились назойливые педагоги, которых в моей жизни было более чем достаточно.

Моим излюбленным местом времяпрепровождения стала старая каменная беседка в сосновом бору, не усеянная, как ни странно, экскрементами трудового или отдыхающего элемента и расположенная в небольшой низине, куда не проникал ни назойливый зной сибирского лета, ни раздражающие звуки однообразной лагерной жизни, навроде визга горна или ослинопионерских кличей. Беседка, правда, находилась уже за территорией нашей «зоны отдыха», и мое самовольное здесь пребывание могло иметь для меня весьма печальные последствия, если бы, конечно, о нем стало известно кому-то из персонала. Но ни стройные молчаливые сосны, ни столетний камень неизвестно когда и зачем здесь построенной беседки стучать не умели, а если бы и умели, то, полагаю, не стали бы. Я был здесь своим. Я был другом. Я просто сидел на прохладную каменную скамейку и, взбивая перед собой каким-нибудь прутом слежалую пыль, отдыхал. Пахло хвоей, влагой и какими-то грибами. Были то съедобные грибы или ядовитые, я

не знаю – собирать и есть я их не собирался. Поднятые мною частички пыли весело щекотали в носу, а сновавшие мимо ящерицы не обращали на меня никакого внимания, словно я был частью привычного им интерьера, такой же каменной статуей. Мысли мои текли неспешно, почти вальяжно, и эти самые ящерицы занимали в них немалое место, как что-то важное, принадлежащее тому же миру, что и я. То, что ликовало, визжало и бесновалось по ту сторону лагерного забора, пинало зачем-то по мячу, отбивало шаг по плацу под красным флагом и нечисто – кто во что горазд – распевало свои дикие гимны и здравицы, относилось к другой вселенной, чуждой мне и неприятной.

Единственным человеком в лагере, общение с которым я находил интересным, был Трофимыч, кочегар лагерной котельной, по долгу службы поддерживающий теплую воду в душе да выполняющий еще кое-какие незамысловатые работы. Жил он в близлежащем селе, а потому в отдельной комнате на хоздворе не нуждался, что было очень выгодно начальству, сдававшему эти комнаты залетным гастролерам. Трофимыч приходил еще затемно, часа, пожалуй, в четыре, и, заступив на свое рабочее место в жаркой, похожей на кузницу, котельной, проводил там весь день, горемычно куря одну папиросу за другой да время от времени подкидывая лопату-другую угля в прожорливую пасть топки. То ли хозяйства у него в деревне не имелось, то ли и вовсе не нужен он был никому, но возвращаться вечерами восвояси он не спешил, еще некоторое время после завершения работы ошиваясь вокруг хозяйственных построек, покашливая да дымя очередную «беломориной», запас которых у него, как видно, не иссякал. Нелюдимый и несловоохотливый, в одной и той же замызганной тужурке да с неизбывным запахом водочного перегара, который он всегда приносил с собой, Трофимыч не мог не стать предметом подзуживаний да насмешек со стороны как юных «невольников», так и более взрослых вожатых, не упускающих случая поддеть старика да бросить ему вслед одну из своих тупых шуток. Тот, казалось, пропускал колкости мимо ушей, не удостаивая обидчиков ни словом, ни взглядом, словно его их реплики вовсе и не касались.

«Эй, дурень! – кричал вслед безобидному кочегару какой-нибудь комсомолец, лезущий из кожи вон, чтобы произвести впечатление на окружающих его девиц. – Куда ж ты пошел? Тут девчонка в тебя влюбилась! Или тебе неловко, что ты так воняешь?»

Даже мне, десятилетнему тогда юнцу, подобные шуточки казались глупыми и неостроумными, и я почему-то начинал краснеть за этого парня, столь неприкрыто демонстрирующему свою глупость перед взрослым человеком. Сам я немного побаивался Трофимыча, но отворачивания к нему не испытывал. Напротив, мне было жаль старика, в чьей жизни, должно быть, случилась какая-то беда, – а иначе почему он такой... заброшенный?

Однажды, отправленный на хоздвор сжигать собранный ранее мусор, я обнаружил, что забыл позаботиться о спичках, а, следовательно, запалить кучу вонючей пакости мне было нечем. Возвращаться не хотелось – добрые шесть сотен метров босиком по раскаленному асфальту и колючей траве были приличным расстоянием, – и я в растерянности огляделся по сторонам, надеясь найти выход из положения. Но на всем угнетаемом невыносимым зноем пространстве хозяйственного двора я, как назло, никого не увидел, лишь чья-то рыжая собака пыталась немного покемарить, отыскав тонкую полоску тени у облупленной стены бани. Поскольку испрашивать у нее огоньку было бы глупо, я, вздохнув, собрался-таки вернуться в барак, но тут внимание мое привлекла приоткрытая дверь в котельную, где, как я знал, практически неотлучно обретается деревенский старик Трофимыч. Уж у него-то наверняка огня сколько хочешь – по должности положено. Но просто так войти и попросить у угрюмого старика спичку было жутковато: хоть я и не участвовал в акциях по его травле, неизвестно, насколько он обозлен. Однако, взвесив все за и против, я пришел к мысли, что из двух зол нужно выбирать наименьшее и, секундою решившись, проскользнул в полумрак котельной.

Немного присмотревшись, я разглядел сидящую на лавке в углу фигуру, еще ранее заподозрив ее там по вспыхивающему угольку папиросы. Мое появление не могло остаться незамеченным, однако кочегар молчал, то ли ожидая от меня приветствий, то ли вовсе мною не интересуясь. Откашлявшись, я кратко обрисовал ему свое затруднение и попросил одолжить мне коробок спичек для благого дела. Смурной дед глянул на меня исподлобья и изрек, что спичек мне не даст, так как я их, несомненно, ему не верну, но пойдет со мной и сам запалит мусор. Мне было все равно, хотя быть замеченным в компании Трофимыча означало бы и для меня изрядную порцию издевок на хлеб вместо масла. Через несколько минут я уже стоял рядом с кочегаром неподалеку от пылающей и источающей зловоние кучи и молча смотрел в огонь.

Когда мы чуть позже сидели рядом на лавке в котельной, прихлебывая крепкий и почему-то пахнувший табаком чай из мятых алюминиевых кружек, я рассказал Трофимычу о своей нерешительности и о том мерзком чувстве, охватывающем меня всякий раз, когда я становился свидетелем отвратительных издевок над ним. Я, конечно, немного приукрасил, стремясь выглядеть лучше, чем есть, но суть все же передал верно, и старик это понял. В ответ он произнес лишь, что каждому придется когда-то «оплачивать счет за бездумный пир жизни», и завсегда и боев быков, потех-карнавалов да прочих непотребных игрищ скорее всего изумятся его размерам. Когда же я спросил его, почему он молчит и не дает отпора обидчикам, Трофимыч усмехнулся и не совсем понятно пояснил: «Я молчу, чтобы забрать ветер из парусов их агрессии». Странно было слышать столь громкие метафоры из уст деревенского алкоголика, но тем отчетливее я осознал, что судьба свела меня с действительно интересным человеком. С тех пор я, наплевав на насмешки однокашников, стал бывать у него довольно часто. Мне нравилось слушать истории о его прошлой жизни, потягивать обжигающий губы несладкий чай из алюминиевой кружки, а то и просто молча смотреть на пробивающиеся сквозь дырочки и щели железной дверцы топки всполохи красно-синего пламени.

К сожалению, эти спокойные минуты выпадали мне нечасто. Большую часть так называемого свободного времени – представьте себе, в лагере отдыха было еще и свободное время! – я все же вынужден был проводить с отрядом (заметьте – все чисто уголовная терминология), потакая глупейшим приказам вожатых и претворяя в жизнь их прихоти-идеи, по своему содержанию очень похожие на хмельной сон слабоумного орангутанга, если, конечно, я верно представляю себе, что может пригрезиться пьяной обезьяне-дебилу. Однажды я должен был, напялив девчоночью юбку и позволив густо намазать себе рожу помадой, распевать песню про Андрияшку с Парашкой, не могущих поделить чьи-то там лапти, и энергично вертеть при этом задницей, покрытой полосатыми трусами семейного типа, которые мне почему-то воспитатели позволили оставить. В другой раз мне пришлось подскакивать в четыре ночи и спешить разыскивать некую военную тайну, для чего необходимо было оползти на брюхе все окрестные карьеры и усеянные дерьмом овраги, потому что, оказывается, это было двадцать второе июня и все должны были изображать войну. А то и вовсе все вдруг отправлялись в близлежащую деревню с целью возложения каких-то там веников к облупленному памятнику не то Вовы Ульянова, не то одного из его многочисленных подельников, взирающего на нас с постамента грозно, но с любовью, разумеется.

Помимо того, в нашем лагере, как и в любом другом советском воспитательном заведении, регулярно случались всякого рода ЧП, то бишь чрезвычайные происшествия. Наше начальство их обожало, лепя этот ярлык на любую мелочь, не стоящую и выеденного яйца. Узрела, к примеру, незабвенная Светлана Ильинична во время утренней переключки лагерников косо сидящую «частицу красного знамени» на чьей-то немой шее... К концу дня виновный позавидует участи Карбышева, Лазо и эсэрки Каплан, ибо карающая длань блюстительницы лагерного порядка выдавит из него всю душу и распнет подлеца на кресте социалистического сознания, дабы в корне удавить зародыш индивидуальности, пусть даже столь

негативной, как неряшливость. О собственной же влажной рыжеватой поросли, за версту благоухающей в ее подмышечных впадинах, разумеется, и не вспомнит...

Или же, скажем, отказался какой-то олух от роли уродливого посмешища, не соблаговолив плясать «веселого утенка» во всем известной детско-идиотской постановке – тем хуже: будет всю ночь плясать по всей территории лагеря, выполняя тройную норму по собиранию плевков и скользких шкурок противозачаточных изделий, щедро разбрасываемых разными хмырями, попользовавшими представительниц похотливой лагерной «номенклатуры». Вот такие чрезвычайные происшествия.

Ну и, конечно, была Анечка. То есть для нас, сопливых юнцов, она звалась, натурально, Анной Юрьевной, но за глаза ее никто иначе как Анечкой или Анютой не величал, и крылся в этом имени невероятный сарказм, поскольку ее поразительные в своей активности подвиги на внутрилагерном любовном фронте не были секретом даже для младшего поколения заключенных, к которому принадлежал и ваш покорный слуга, а восторженные отзывы о ее талантах всей лагерной шушеры мужеского пола раскатистым эхом достигали окрестных деревень, откуда спешили к нам толпы подвыпившего бичевья с целью вкусить сладости ее близости. Анечка была пионервожатой, комсомолкой, а посему отзывчивой и чуткой к чужим желаниям.

Про себя скажу, что у меня с Анечкой сложились совершенно особые отношения. Именно у меня с ней, потому что у нее со мной, разумеется, никаких отношений сложиться не могло по причине моей половой незрелости, на которую я тогда так досадовал.

В моей же юной душе возникло что-то наподобие не отягощенной похотливыми помыслами влюбленности в эту яркую, грудастую и донельзя развязную девку, одну из тех, о которых говорят, что им пальца в рот не клади (пальца, впрочем, никто и не клал). Всегда живая и готовая к действиям, Анечка появлялась и исчезала незаметно, но ее сумасбродные и порой отчаянные задумки по разнообразию нашей богатой впечатлениями пионерской жизни не давали нам забыть о ней ни на секунду. Иногда ее идеи были просто-таки нездоровыми, и упомянутое выше принудительное размалевывание ребят губной помадой было, что называется, просто цветочками. Чего стоит один только почетный караул у ведра с блевотиной, после того, как в отряде откуда-то появилась бутылка спирта? А поглощение окурка, произведенное пойманым ею за курением не то Степой, не то Семей? А проведенная Анечкой дележка продуктов после так называемого Родительского дня (который, заметьте, помимо пионерского лагеря проводится лишь на кладбище), при которой в нашем распоряжении, собственно, осталась лишь минеральная вода, да и та не в полном объеме? Да что говорить, воспитательный процесс у нас не оставлял желать лучшего. А самое главное – мы уже тогда учились плясать под дудку шлюхи, что многие из нас до сих пор и проделывают.

Мне же Анечка не казалась ни злой, ни пошлой. Я был от нее в тайном восторге и люто ненавидел каждого, кто осмеливался в моем присутствии пройти по ее достоинствам или моральному облику. Правда, вслух я этого не говорил и даже поддерживал рассказчика отрывистым одобрительным смехом, дабы не навлечь на себя обоснованное подозрение в недопустимой лояльности и не стать посмешищем. Таким образом, я обучился и еще кое чему, а именно молчаливому предательству.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.